

БОР. ПИЛЬЯК

АНГЛИЙСКИЕ
РАССКАЗЫ

КРУГ
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1 9 2 4



Право перевода и перепечатки
закреплено за издательством.

По всем делам, связанным с на-
званным правом, следует обращаться к **Издательству АР-
тэлки Писателей „Круга“**, Мон-
секва, Покровка, Б. Щипенский
пер., д. 5, кв. 3-6.

БОР. ПИЛЬЯК

АНГЛИЙСКИЕ РАССКАЗЫ

ВОЕННАЯ
ТИПОГРАФИЯ
Шт. Р.-К. К. А.
Пл. Урицк., 10.
Ленинградский
Гублит № 687.
Тираж 3.000.
Заказ № 909.

„КРУГ“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД
1924.

СТАРЫЙ СЫР

Марки Издательства—
худ. Ю. АННЕНКОВА.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Мой друг!

Ваше письмо из Англиишло ровно год, и совершенно непонятно, как оно дошло. Где вы теперь?—Вы пишете о том, что Лондон попрежнему все свои концы и начала—улиц, тюбов, музыкхоллов, кабаков, ночей в доках и Гайд-Парке, Сити, Пикадилли, Пэлл-Мэлле—ведет и приводит в столетья известняков Вестминстерского Аббатства, к дедовскому креслу у камина и к сода-усики в туманные вечера?—Не даром парламент вот уже восемь веков заседает в монастыре!—Я очень помню то удивление перед цивилизацией, когда—мелочь—я не могла перейти улицу у Тоттэнгем-коорт-роада на Оксфорд-стрит, она была так загружена тэкси, бэссами и каррами,—я заметила, что грузы передавались кранами над крышами, а мне предложили перейти улицу под землей коридором для пешеходов. Я очень помню то чувство гордости и благодарности человечеству за его человеческую, духовную культуру, которое я дважды пережила в Лондоне:—один раз под колоннами Британского Музея, уходя из тишины его зал, где тогда я причащалась в сеи истории человечества, к векам лучшего в человечестве, где в сумрачных внизу я видела все книги, которые вышли в мире; и второй раз в Вестминстере

около могилы Ньютона,—там в веках и полумраке, на известняках стен и под известняком пола—даже Ньютон—только звенышко в том грандиозном, что зовется человечеством и что человечество создало, и каменная плита в полу над останками Ньютона, где написано его имя, уже полустерта ногами, здесь, над ним проходивших.—Помню, потом, после Вестминстера, мы пошли в „Кабачек Старого Сыра“, который существует с тысяча шестьсот сорок седьмого года, излюбленный кабачек Диккенса, там в клетке кричал попугай, нам дали кушанье—„пай“,—которое любил Диккенс, завтрак мы закончили старым сыром, в честь которого и назван кабачек,—и, когда уходили, хозяин кабачка, заметив, что мы иностранцы, подарил нам книгу в триста страниц, где излагалась история этого кабачка, кто в нем был, какой художник, поэт, дюк-оф-Иорк—коротали в нем у камина лондонские туманы, там рассказывалось, как один джентльмэн поцеловал на лестнице в кабачке прекрасную лэди и что из этого вышло, там подробно указывалось, на каком месте, в какие часы сидел здесь Диккенс и на какой странице в „Повести двух городов“ описан этот кабачек; хозяин кабачка был горд сообщить нам, поклонившись, что и он соработник культуры...

Да. Но—вот, как живу я теперь.

Направо, налево, сзади и впереди нас—степь. Из степи встает солнце и в степь уходит. Железная дорога от нас в ста верстах, ближайшее село—в пятнадцати. Весной степь буйно цветет тюльпанами и травами до пояса, по-

том степь выгорает, остается сухая земля да кое-где на ней ковыль и полынья; зимой лежат снега, над землей тогда горит Полярная Звезда, и ковш Большой Медведицы не может вычерпать всю нашу степную грусть. В степи идет овраг, за версту направо и налево он не виден, и в этом овраге стоит наш хутор. Мы не пашем, по скатам оврага расположился сад, огромный, десятки десятин; ключ, который течет наверху оврага, мы превратили в пруд; два верблюда все время ходят по кругу, качая воду для поливки сада; у нас есть шесть коров, два верблюда и одна лошадь. Весной сад цветет: тогда болит голова от соловьев и запаха цветущих яблонь; осенью все пахнет яблоками, и яблоки горами навалены всюду, на столах, на подоконниках, на полу, в сарайях, на чердаках... Около пруда, втопиях стоят наш дом, низенький, под деревянной крышей, выкрашенный снаружи известкой, как украинские хаты, терраска висит над обрывом в сад, в гущу деревьев и—весной—соловьиного переполоха. В доме низенькие комнаты, большие лежанки, скрипучие двери, и дом навсегда, должно быть, пропахнул степью, полынью и зноем. В России революция, все дороги заброшены, редко-редко когда на горизонте возникнет киргизский всадник и сейчас же исчезнет за балками, к нам никто и мы ни к кому. У нас нет хлеба, и мы делаем хлеб из яблок, на молоке. Мы живем, как жили, пятеро: мать мужа, старуха, член Географического Общества, энтомолог,—она и сейчас ведет исследования и пишет,—мой муж, я и брат мужа Николай,

художник, с женой Ольгой. Мы живем дружно и бодро. Муж проводит дни на той стороне оврага, где поднимается солнце, там у него пчельник и клочки бумаги в шалаше, иногда он стреляет из своей берданки среди дня, это наш условный знак, тогда я иду к нему и мы печемся на солнце,—иногда я слышу на терраске костяные шаги его пойнтера, у пойнтера во рту клочок бумаги с одним словом: „приди“... Вечером, после заката, мы сидим на терраске, муж на ступеньках к обрыву, молчим и я чувствую, как на платье садится роса... Я просыпаюсь с солнцем, и все же всегда застаю мать в ее комнате, с лупой в глазу, с пером в руке, склоненную над своими бабочками и жучками,—если бы вы послушали, какие необыкновенные вещи она рассказывает о бабочках... Весь день у меня заполнен трудом; утром я и Ольга, мы доим коров, я или она отгоняем их в поле, мужчины таскают воду, мы готовим завтрак, потом надо ити в сад и работать там, весной мы окопали все яблони, потом воевали с червями, теперь надо собирать... Скоро зима, мы никуда не поедем, нас заметят снегами, мы все соберемся в нашем домике, будут мести метели и будет очень хорошо. Мы ничего не знаем, что делается в мире, живем совсем без денег, на первичной ступени культуры и я не знаю, как и когда я отправлю вам это письмо... Сейчас осень, по-европейски сентябрь, стоят необыкновенные дни, сад пошел, степь еще больше раздвинулась, дни пустынны, безмолвны, солнце слепит, но несет холодок, ночью садится

заморозок и все небо — громадное—в звездах, вечерами мы ходим в степь, вчетвером, за несколько верст. Мужчины берут с собой ружья, так как сейчас идет перелет, можно застрелить дрофу, и еще от волков, которые стали набегать на хутор. Возвращаясь, я и муж, мы идем спать на пчельник, к яблокам и меду, а Ольга и Николай—на сеновал, к увядшим весенним травам...

ИЗ ДНЕВНИКА ОЛЬГИ ДМИТРИЕВНЫ, ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА НИКОЛАЯ.

5-ое сент. 1918 г.

Вчера мать рассказывала о своем научном путешествии в Монголию, а Мария вспоминала Англию,—а позднее мы ходили в степь и слушали, как воют волки. И ночью я видела нехорошие сны, мне снились лондонские улицы, Трафальгер-Сквер, в монгольской пустыне, мертвые и занесенные песками, фонтан у колонны Нэльсону иссяк и гранит растрескался, по улицам проехали на лошадях верхом монголы, потом прошел в цилиндре и с зонтом, как подобает, англичанин. И сейчас я думаю, что этот сон—очень похож на нашу явь. Какая страшная кругом степь, пустыня; когда заезжают киргизы и останавливаются отдохнуть, они вынимают из-под седел сырое, прелое мясо и жрут его, разрыгая зубами; когда—в этом году только два раза—мы собираемся поехать к человечьему жилью,—это

бывает гораздо сложнее, чем проехать от нашей же станции до Петербурга, за полторы тысячи верст... День сегодня пришел в солнце, пустой, ясный и мертвый, был заморозок, мы спали, зарывшись в сено, ночью на горе над нами выли волки... А на рассвете, неловко повернувшись, я вновь почувствовалася, как во мне движется ребенок, прекрасный мой, незнаемый... Потом пошел день, как всегда, в работе, в заботах. Я люблю наши дни, потому что мы дружны и бодры. В час, за обедом, мы собираемся все, всегда шутим, раскладываем пасьянс, мы, женщины,—братья играют партию шахмат. В сущности, сон, конечно, не похож на нашу жизнь: во сне—Монголия съела Лондон, мы же—колонизаторы, несущие культуру в земли дикарей.

7-ое сент.

Сегодня в саду собирала последние яблоки, антоновку, снимала с верхушек шестом, оступилась и опять почуяла, как во мне, там, повернулся ребенок. Какое это счастье!—Еросила сад, пошла к мужу, он был около верблюдов, приласкалась к нему, сидели у ворота, который кружат верблюды, — я знаю — около нас было счастье... Потом, как провинившиеся дети, стали спешить починить ворот, починили, ушли в сад собирать яблоки и долго не шли к обеду, озабоченные яблоками. И после обеда не задерживались в комнатах, опять пошли в сад, Мария что-то заметила, погрозила мне пальцем, я высунула ей язык. И

к вечеру мы наворочали яблок целую гору. Вечером Андрей, чудак и изобретатель, подарил Марии и мне по флякону самодельных духов, очень хороших, пахнущих и яблоками, и полынью, как вся наша жизнь, он так и надписал на пузырьках: „Духи Наша Жизнь“. Мы сидели в доме, я шила белье будущему ребенку, мама раскладывала пасьянс, мужчины изготавливали восковые свечи на зиму,—все шутили. Ночью мы видели, как далеко в степи полыхало зарево. Что бы это значило?—Мужчины обеспокоились, заговорили о революции, о крестьянских восстаниях,—мы все приветствуем революцию, так как она прородит феодальную Россию...

8-ое сент.

Сегодня утром нарушилось наше безлюдье. На рассвете приехали киргизы, пять вeadников, с английскими военными винтовками. Всегда раньше их очень долго приходилось просить въехать на двор и зайти в дом,—теперь они, оставив лошадей среди двора, кинув им сено из сарая, вошли в дом, в нашу столовую и сели, как садятся европейцы, не на пол, а на стулья, они были очень торжественны, молчали. Мама принесла сушеных яблок, они отказались есть. Андрей предложил им меда и сидра,—они вновь отказались—даже от сидра, хотя им объяснили, что это алкоголь. Они сидели все, как один, расставив кривые свои ноги и опершись на них руками, точно думали очень большую думу. И все они были, как один—с узкими ко-

смыми глазками, в остроконечных меховых шапках, изъеденных вшами; скоро от них вся комната пропиталась гнилым запахом нечистот, пота, кислого молока. Они пробыли недолго. Так же молча поднялись, вышли к лошадям, навязали нашего сена к седам и умчали в степь. Андрею и Николаю—не понравился их визит, но мама думает, что с дикарём нечего спрашивать приличий, а то, что они скинули с себя всегдашнюю свою маску трусости и забитости, почувствовали себя—пусть нелепо—гражданами,—это хорошо..

Сегодня прозрачный, пустой осенний день, утром я видела, как стрелкой на юг потянули журавли,—от них всегда грустновато, как то бередится душа и сама хочешь к ним. В саду уже падают листья, он редеет, становится непривычно-просторным и слышно, как падают забытые яблоки.. А к вечеру пошел дождь, заморосил, заволок небо. Стал дуть мокрый ветер, обшаривает все, все пронизывает. Ночь черная-черная, ничего не видно. Степь теперь страшна, мокрая, темная, пустая. Шумит нехорошо жутко сад. Мы все собирались в столовой, каждый со своим делом,—я сижу в сторонке и пишу это. В такие вечера надо быть особенно дружными. Кончу писать и буду шить ребенку, и сегодня мы не пойдем спать на сеновал, по зимнему будем устраиваться, в доме... Как нехорошо лают собаки, должно быть, опять волки.. Чу,—выстрел!. Андрей пошел узнать, в чем дело..

ГЛАВА ВТОРАЯ.

В исполнкомах, в чрезвычайных комиссиях, в штабах армий, на площадях на улицах, на проселках, на железных дорогах, на станциях, по деревням, хutorам, пустощам, полям, степям, оврагам, рекам, ночами, туманами, дождями,—осенью, тысячами глоток, тысячами,—шли, ползли, тащили пушки, обозы, скотину,—кричали, пели песни, молились, плакали, матершинили,—спали на дорогах, в оврагах, в степях,—жгли костры, деревни, поля, города,—умирали с чашкой в руке, сонные, бодрствующие, больные,—убивали сыпняками, пушками, голодом.—От Урала и степей шли бело-голубые, в английских шинелях, со старообрядческими крестами, бородатые. От Москвы и Питера, от городов и машин шли красные, в рабочих куртках, бритые, со звездами и без молитв. За увалами ставились пушки, палили по речным просторам, по туманам, по городам. Полыхали непокорные села — красными петухами, степными вешками. Люди гакапывали себя и хлеб—в полях, в канавы, в овраги, в реки. Люди не спали неделями и засыпали от бессонницы навеки, люди—спали неделями. В полях—под осенним солнцем и колкими звездами—бросили одичавшие лошади, волки, люди, страх, буй...

В исполнкомах, в управах, в чрезвычайных комиссиях, в контрразведках, в штабах армий—трещали телефоны, толпились курьеры, дымила махорка, писались приказы, узнавались истини, открывались предательства, мелочами проходили геройства и глупости, спали на столах, тут же ели и трудились, на задворках расстреливали, у парадных дверей вешали плакаты, и охрипшие люди с парадных дверей, с тумб, со столов—кричали, кричали тем, кто шел, шел, шел мимо...

В исполнкомах, в чрезвычайных комиссиях, в штабах армий застrevали—для истории—бумаги о том, что там-то взорван мост и геройством в смерть ушла сотня матросов, что там такой-то отряд ушел умирать, что там взяты, а здесь сданы куски земли, что там такая-то грязная ночь,— что там повесили бело-голубые такого то комиссара, что новая красная тысяча пошла умирать за прекрасное будущее, бритая и в рабочих куртках,— что по степи бродит шайка киргизов, грабит, насиливает, режет и жгет.

Сначала были бодрые в солнце дни бабьего лета, солнце шло по синей небесной корке, летели над полями паутинки, притихала земля в синем твердом воздухе—днями, а ночами горели, обновленные за лето звезды и светил месяц, возродившийся после июня. Потом шли дожди, мир и степь посерели в сырости. Потом морозы сковали сырую степную серость,— и тогда выпал снег, чтобы опять поподзти по проселкам грязям. Снег выпал, как всегда, ночью, и с рассветом стал сползать, на минуту закинув в сердце каждого бодрость. По улицам, мешая

грязь со снегом, шли красноармейцы, на площади еще не стухли костры от их ночевки и дым стоял к земле, воздух—по утреннему и по зимнему—был синь. Секретарь исполнкома, по зимнему в валенках, в железку положил дрова прежде чем приступить к прочтению бумаг, и среди сотни бумаг была одна, где доносил волостной председатель о делах в своей волости.

„А так же доношу что посарынским пустошам недели две тому прошли киргизы сто человек воружены винтовками грабили хутора мужиков брали в плен а потом в степу резали. Бабов почитай всех перепортили а скотину не так воровали как разогнали, что только наделали. Апрошли они шешнадцать хуторов и три села. Мы теперь нарядили мужиков ловить по степу скотину. Што делать?“.

За окном исполнкома таял снег, солдаты запели песню о том, как приотели девки. Снег стаивал, на площади вырастала лужа, земля серела, как лицо старухи в слезах. Печурка в комнате разогревалась. Та бодрость, которая всегда бывает у людей в первый день зимы, вместе с тающим снегом переходила в будни, песня солдат стихла за поворотом в степь. О киргизах было уже известно в исполнкоме, как-то мутным рассветом на всгорке в мокрой степи их искрошил, вместе с лошадьми, на крешево волкам,— пулемет,—и секретарь засунул бумагу сельского комиссара под сукно... В кабинете председателя зазвонил телефон, пришла телефонограмма из штаба о наряде на подводы...

... А где-то в степи в эти страшные недели,—солнце, садясь за балки в жухлые ковыли, в страшный красный простор, осветило холм и на холме дикую, древнюю картину азиатского кочевья. На холме горел костер, вокруг костра сидели дикари, в мехах, в остроконечных шапках, с лицами унылыми и омертвевшими, как их степь и полынная степная культура. Эти люди были безмолвны, как степь. Только лошади, что бродили по балке, ржали иной раз, да мчали по степи, взметая пыль и тишину. У костра—люди—за день становища—насорили человеческим сором, валялся конский помет, седла, винтовки, кочевья утварь,—от костра пахло пометом, ибо пометом горел костер. На костре долго жарили тушу лошади, и ели ее, держа куски мяса в руках.—Так—красной раной—ушло солнце,—чтоб небо за ковалось в звезды, во льды,—чтоб костер долго дымил и тлел красным недобрый зраком в степных путинах... А новый рассвет застал киргизов уже за много десятков верст от этого костра, и был пустой, прозрачный, безбрежный осенний день, в тишине, хрусткой, как стекло, в журавлином клекоте, в журавлиной печали. И этот день ушел в дожде, в сырости, в серости. Так же безмолвно сидели киргизы у костра в степи, ноги под себя, в остроконечных шапках, так же тлел костер пометным дымом и бродили во мраке лошади. И ночь пришла черным мраком, измороzyю, сиротством, ветром. Рано с вечера завыли волки, и лошади подобрались к костру, стали кругом, головами к людям, задами к степи, следили, выведывали, боялись,

И новою ночью они пустились в новый путь. Здесь у становища был стог сена, в такие стоги русские закапывали и сжигали в них киргизов-конокрадов,—и отъезжая от становища, кто-то кинул в стог глыshку, стог вспыхнул вехой на новую ночь...

... На горе, над оврагом было тихо, мирно внизу в деревьях—в окнах—светил огонь, чуждый и чужой киргизам. Залаяли собаки. Всадники стояли неподвижно, лошади опустили головы, шелестел внизу, в деревьях ветер—сиротливо, нехорошо. Подъехали еще всадники, стали слезать с лошадей. Один, по-киргизски—скорчено сидя на длинногривой маленькой лошаденке, отставив от себя винтовку, должно быть, сожмурившись, выстрелил в небо. Тогда бесшумно, с ножами и винтовками, один за одним, поползли киргизы вниз по кустам. Тот, который выстрелил, остался с лошадьми, лошади стали в круг, задами к степи, понурив головы, маток пустив в середину...

Внизу крикнули мирно:

— Э-эй,—кто там стреляет?..

Долго была тишина, и вдруг сразу — огромным полымя—вспыхнул сенной сарай, затрещала в огне крыша. И тогда завизжала пронзительно, дико, умоляюще женщина:

— Оставьте, оставьте, пустите, я беременна, пустите, я бере...

Киргиз сверху видел, как из дома с крыльца трое потащили женщину, за руки и за ноги, волоком. Киргиз перебрал возжами и чмокнул. Потом крики опять стихли. Внизу

в свете пожара бегали люди, безмолвно. Потом опять кричали женщины. Четверо наверх прикатили бочонок и, не дожидаясь всех, здесь же пили, подставляя шапки под кран,— из шапок. Пожар разгорелся сильней, в черный мрак, в дождь и ветер летели галки,— и живое воронье, разбуженное пожаром, закаркало над черной степью. Двор опустел.

Опять закричала женщина:

— Спасите... Пустите, я же умру...

Женщина выбежала из мрака на огонь и побежала. За ней бросилось человек десять, ее повалили тут же у пожарища. От крылечка, прежде незаметный, волоча себя руками, обезображеный, в крови, пополз человек, он протянул руку и выстрелил в кучу киргизов,—тогда стоявший наверху, почти не целясь, выстрелил из винтовки и видел, как пуля оторвала черепную коробку.

... Дождь шел всю ночь, новый рассвет приходил в се-
рой мокроти, в тумане, в ветре... Новый рассвет застал
киргизов на новом становище,—так же тлел костер, так же
безмолвно, подогнув под себя ноги, сидели люди, так же
бродили лошади, подбиравая жухлую траву... Так было еще
несколько рассветов, когда—таким же невеселым рассве-
том—с двух сторон над становищем не затрециали пуле-
меты, чтоб оставить на тризну ястребам и волкам кашу
человечьих костей...

А на хуторе, тоже через несколько дней, три женщины
и два красноармейца хоронили троих: двух мужчин и одного
недоношенного, родившегося мертвым ребенка,—и комис-

сар, после похорон списывал в бумагу, покачивая недо-
уменно головой, что:— „убили— мужиков двоих (подумар,
он переправил—троих); изнасиловали—двух женщин и
одну старуху; съели одну кобылу; сожгли один сарай“,—
и прочее.

.. Над степью выпал еще снег, и опять стаял, раз-
возя грязь, чернозем расползся, солдатская нога утопала
в нем по щиколотку,—кочками солдаты мешали на прива-
лах в одну кучу—свет костров, снег, грязь и свои тела,—
на рассветах солдаты шли вперед, в муть, снег, степь...
В штабах, в исполкомах трещали телефоны.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

В Лондоне уже недели стоял туман, был март. Иногда выпадали дни, когда—из-за тумана—должны были останавливаться бэссы, тэкси, трамваи, карры, город замирал, и люди в желтом тумане шли по улицам держась за стены домов. Город замирал, люди сидели дома у каминов в пледах на плечах, в шерстяном белье, мужчины и женщины пили сода-усики, чтобы согреться и убить пустые дни, город и все ждало, когда с океана подует ветер. Фонари не тушились все дни, но они были не нужны в тумане. Газеты увеличивали свои тиражи на дни туманов.

Человек, одинокий, русский, но ставший точно таким же, как все англичане, привык просыпаться под скрежет железа, под машинный, стальной гул города, под шипенье автомобилей за окнами,—но были дни тумана, и проснувшись в желтой жиже утра, не развеив еще сна, человек услышал дальний колоколный звон, так же как в России,—за этот колокольный звон вместо скрежета машин он когда-то проклял Россию... В рыжем тумане, в замершем городе звонили колокола,—и какая новая душа города выползла в этом звоне и тумане?—Так же как все англичане во всей Англии, за брэк-фэстом он ел порич и бекен и кофе

пил с вареньем из апельсинных корок. Но он, как все англичане, не был связан с Сити,—это у него осталось от России,—и он, в черном плаще, цепляясь за стены, от угла до угла, пошел в Британский Музей, чтоб там, в сумрачных книжных залах, уйти от сегодня в дальние закоулки катакомб человеческой истории,—чтоб, как всегда каждый русский, мерить историю человечества—Россией, пусть она где-то там, покинутая и незнаемая, как Китай,—и пусть человек уже разучился говорить по-русски, сломав свой язык английским языком. В книгах возникала—книги верно говорили о страшной дряхлости человеческого рода. Так за столом с книгами пришел час ленча, и тогда человек вновь вышел к туманам, он прошел к Кинзуэй, оттуда к церквам на Стрэнде и мимо церквей—на Флит-Стрит—улицу газет для всего мира, улицу Диккенса. Эта улица—законом „старого света“ и английским консерватизмом—стояла так же, как стояла четыреста лет тому назад, и в проулочке под воротами человек прошел в Кабачек Старого Сыра. Там горел камин и было пусто, кричал что-то попугай, лакеи с бакенами были министерски величавы; у стойки, в коридоре уже запил с туманной тошки ирландец, настынивал „ТИПЕРЭРИ“ и пил только уиски, он стоял, облокотившись на стойку, расставив широко ноги в клетчатых серых штанах, и говорил, прерывая „ТИПЕРЭРИ“:

— Ха, туман, туман!.. Посмотрите фотографию моей дочери мисс О-Джэрси... и вот ее сюит-харт, клэрк из Сити, ха!... это самое главное, ха!

Человек из России был уже не молод; английские туманы, бизнэс и стриты, где все дома, как один,—крепко отложились на нем, на бритом его лице с сизым английским румянцем, не то очень здоровым, не то очень болезненным, но обязательно таким, где из каждой склеротической венки прет воля,—и только в глазах осталось еще от русских печали полей и починок, и от полодкой русской дряхлости. Здесь, в кабачке, его ждал второй русский, точно такой же, как он. Они пришли одновременно. Они одновременно сняли свои черные плащи и повесили их рядом, на гвоздик, где вешал свое пальто и Диккенс. Они сели друг против друга к столу в белой скатерти на скамьи с высокими спинками; их седые головы—каждому голова сидящего против него—должны были бы показаться на фоне этих спинок старинными английскими портретами добродетельных пьяниц из Национальной Галереи, и спинки скамеек, пожелтевшие от столетий, изъеденные древесными жучками, были изрезаны веселыми изречениями, инициалами, датами, хранящими в себе память столетий, и казалось, что именно от них, от спинок и столетий на них, пахнет старым сыром, запахом, чуть-чуть напоминающим запах пота. Лакей-министр безмолвно поставил две пайнты пива и отошел в сторонку, чтоб под вторую пару приготовить две тарелки пая из голубей и чтоб после старого сыра дать третью пару.

И, потому — что за кабачком туман и город стих, потому — что они старики, одиноки и русские, а лакей-

министр рассудил дать третью кружку пива, — у них длинный русский разговор, и—потому, что они русские—разговор у них о России. Табак их трубок пахнет, как все английские табаки, экзотикой заокеанских стран и мореплаваний,—не даром англичане—мореплаватели и их табак называется „морским вкусом“. И труд англичанина никак не пропах старым сыром, он пахнет скорее табаком. Русские медленно съедают сыр. Они говорят долго...

— Я расскажу вам историю; она произошла уже больше четырех лет назад, в 1918-м году, в России, в Заволжье на юго-востоке, когда там бунтовала степь и шли чехословаки. Там на хуторе жила семья моих друзей, бодрых и здоровых людей. Старик, горный инженер умер, и главой семьи была старуха-мать, у нее было два сына, сыновья были женаты на прекрасных русских женщинах, одна из жен, Ольга Дмитриевна, ждала ребенка. Впятером они жили в степи, культивировали и трудились. И на их хутор напали киргизы, убили сыновей, матерей-старуху и обеснохи были изнасилованы—тут же на глазах у убиваемых мужей и—когда убивали их. Ольга Дмитриевна ждала ребенка тогда, и ребенка она скинула на другой же день после—после этой ночи, а вторая, Мария, сейчас же после этой ночи забеременела.. И вот подумайте о хорошей русской женщине, которая любила мужа, мужа которой убили ее насильники, которая до самого дня рождения ребенка не знала—кто отец ее ребенка—муж, который никогда не вернется и его сын единственная о нем память,

или насилиники, загадившие ее душу и тело? — И у нее родился маленький, косоглазый киргизенок, красный, как все новорожденные, и когда его похлопали по донцу, он всхлипнул и заорал тоже, как все новорожденные... — Так, как же приняла мать этого ребенка? — Она лежала в родовых муках, а, когда они прошли, она попросила к себе ребенка; ей боялись его показать, дали и — она прижала его к своей груди, просветлела, вся как все матери, впервые взявшие в свои руки своего ребенка, в прекрасной радости бытия, еще не свыкшаяся с тайной рождения... Это — жизнь. У Ольги убили тогда неродившегося ребенка, — и знаете — она приходила потихоньку, тайком к Марии, чтоб поласкать, понежить ее ребенка, чтоб прilаскаться к нему... это — жизнь, жизнь — страшная трагедия!.. С Марией мы бродили по Лондону, когда она была девушкиой, были в этом кабачке, — тогда вот здесь она говорила о величии человеческой культуры; ее поразил этот кабачек, она полуслыша, полусерьезно хотела поделовать вот эту стену, и целовала камни парламента, как святыню человеческой культуры... Насколько древнее, значимей, — страшнее — человеческая жизнь...

Попугай в клетке весело расхочотался. Ирландец, вспоминавший свою дочь, переселился от стойки беседовать с попугаем. Лакей принес и положил безмолвно на стол перед русскими коробку сигар и билл. Пришла семья американцев, осматривающих Лондон. Русские встали, надели свои плащи, раскланялись, вышли в туман; на углу они

распрощались; туман, через два шага, их растворил в себе; город безмолствовал.

Дома у себя, во флате, старик переоделся в халат, затопил камин, сел в низкое кресло к камину, закурил трубку и так сидел очень долго, устало, дряхло, по-русски, как старики в России; потом он достал сифон с содовой водой и бутыль уиски, поставил их на ручку кресла, сел опять в кресло — с блок-нотом в руках — и стал писать, как все англичане, положив блок-нот на колено. Камин стал тухнуть, горел так же дряхло, как дряхл был теперь старик... К семи часам старик стал переодеваться в динер-жакет и вновь ушел в туманы, теперь уже в черном пальто и цилиндре; на Россел-сквере — студенческом бульваре — лифт сбросил его под землю на десять этажей; там подземной железной дорогой он проехал на Пикадилли-серкус, там он прошел на Пэлл-Мэлл. Над городом стала ночь, упорно горели фонари, от них туман был коричневым, иногда на момент наверху в тумане прорывался каскад огней плакатов и реклам, — но все же ничего не было видно кругом, и за два шага впереди и два шага назад возникали встречные, их было немного и от них шелестела улица.

К одиннадцати старик был уже дома и, как все англичане, переодевался в пижаму ко сну. Электричества он не зажигал, и светил только камин. Опять, вместо обычного скрежета железа и стали, в необычайной тишине напомнил Россию церковный звон. И лежа в постели на шерстяных — по-английски простиных, в шерстяной пижаме,

старик думал о России, о родине, по-старчески, когда старость должна оправдать все, всю пройденную жизнь, и старик понимал, что ничто не будет оправдано, если он не понесет свои кости на свою землю.

Город был в тумане. Город и все ждали, когда с океана подует ветер и сгонит туманы с Лондона. Должно быть, если взглянуть на Лондон с Парламент-хилла, с горы, откуда когда-то наблюдали мятежники, как должен сгореть парламент,—туманы над Лондоном, освещенные изнутри миллионами электрических лампочек, Лондон под туманом—мог бы показаться городом на дне морском, фантастическим городом, русскому—Китежем-градом.

Всю ночь в степи полошились птицы, останавливаясь в перелете на север здесь отдохнуть. Ночь была темна, но было тепло совсем уже по весеннему; снег стаял быстро, в несколько дней, теперь шумели ручьи, торопилась трава, птицы полетели все сразу,—весна пошла поспешно, всем надо было спешить. С вечера накрапывал было дождь, скоро перестал, к полночи совсем прояснилось; поднялся месяц, звезды разместились по новому, готовясь к июню, когда им надо обновляться. Гуси кричали рядом на горе у ручья, где-то чуть подальше клекал сторожевой журавль и перекликались самки, засыпая. Ручей падал водопадом. Надо было спешить. Всю ночь три женщины работали у плотины, бодро и весело: спешили починить плотину,

чтоб ее не разорвала вода, рубили топорами дерево, таскали землю, забивали сваи. Перед рассветом, как всегда, на несколько минут стало особенно темно, и после этого быстро стал лиловеть восток. Тогда стало слышно, как забили крыльями птицы, поднимаясь с земли, чтобы лететь на север, к гнездам.

Никола-на-Посадьях,
16-е сент. 1923.

SPERANZA

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов—идут корабли. По морям и океанам—идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же—это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него—чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей—матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой—грузятся корабли, чтобы итти, нести грузы—на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэдами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег,—он на берегу,— и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардэка, когда корабль мечется в волнах овощинко в кипятке,—тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого

закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся,—тогда его стонит в морской болезни, нехорошой, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях,—потому ли только, что это их будни?—и матросы всегда дальноворки!

И на кубрике, в бесконечные океанские вечера, после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского одиночества матросы говорят—о земле, о той земле, какую они видели, и о том, что видели они на ней. Кроме моря, матросы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира,—и матросы знают, что земной шар—даже не шар, а шаришко и очень тесный шаришко, так, что он не может испить всю морскую воду, соленую, как слезы. Кроме морей, матросы видели и все человеческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить,—матросы видели, как люди молятся и чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнинг-дрессах, и в юбках мужчины, и голые с повязкой на чреслах и без повязки на них,—как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное,—матросы помнили, как всюду бывают людей,—и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой,—и прекраснейшее в мире—любовь—у матросов была смрадна—негритянская, индейская, китайская любовь—ка

смраден портовый публичный дом в шуме, гаме и яичных красных фонарях. И на кубрике,—и в экваториальные ночи, когда кажется, что Южный Крест цепляется за мачты, и в ночи под Полярной звездой на кладбище европейских вод,—матросы вспоминают землю, ту, что „на берегу“. Но матросы, как все люди, еще и мечтают: о прекрасной жизни; их мечты строятся на безверии; их мечты строятся над черными, желтыми, красными и белыми человеческими породами и любовями; их мечты строятся над всем миром.—А на кубрике, полярно ночью и ночью экваториальной, ночами в бури и штили—темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колышется вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чащ в безбрежности и—если штиль—горят, горят на небесной корке—звезды, и ясно тогда, что эта небесная твердь расшита в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески-трудная красота?—не матросам же!— А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст,—и только на корме торчат скорченные, черные тени матросов, в их бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды.— Так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардиф, из Гавра в Сингапур и во многие-многие иные места.—Тесен мир.

И—ночь.

Имя кораблю—каботажному, семи-тысяч-тонному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего (как все кабо-

тажные корабли, сохранившие в своих обычаях столетия рабских корабельных правил о мордобое стюарда и капитана, расчетов в каждом порте, английских морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой) — имя кораблю: — „Speranza“, что ли.

И ночь. Грузные груды волн ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть кажется не водою, а гутаперчью, нет горизонтов, — там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней; только на капитанском мостике у компаса, под колпаком над компасом электрическая лампа, да синий и красный огни на боках спардэка; на капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля — вахтенный, им двоим не спать. На сотни метров вширь, на тысячи километров во все стороны, на квадрильоны километров ввысь — безбрежность; глухо качается корабль в волнах; только штурман знает путь; и гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак, замер корабль на ночь, только на кубрике за ларем запасного руля на канатах скрьчились три тени матросов, чья вахта ночью, — француз, англичанин и эстонец — спят в рубке у спардэка радио-телеграфист. — Нынче утром китаец-кочегар пел на носу странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавшей его плечи и живот; потом он долго курил опий; — погом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой; а когда пробили склянку, он заявил матросам и капитачу, что он, рабочий, честно ра-

ботал всю жизнь и теперь не хочет ити к котлам, не хочет работать, он устал, — и он, в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардэка в море, когда капитан хотел его побить, он прыгнул очень поспешно, убегая от капитана, нырнул, как хорошие пловцы головою вниз, и больше уже не выплывал из воды. —

Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антенных, — но радио-телеграфист спит у себя в рубке мирным сном. — А если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей, о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер, американский подкороль стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспрекословно о курсе франка и счел радио-аппарат не очень нескромным для приказа о корзинке цветов, — о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить, как политики-канствуют политики, — как хозяева земного шара, живущие под Нью-Йорком, под Парижем, под Лондоном, в Ницце и на Панамском канале, хотят уничтожить хозяев новой веры в мире, засевших в России в Московском кремле, где на азиатской башне часы отбивают Интернационал, в азиатской части города, — впрочем, о России телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китайце, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот, научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главно и значимо то, что

есть в мире такое, что не может человек воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека, огромная сила, которую человек не знает, но которая над ним, в нем, вокруг него,—и сколько есть еще сил, не познанных человеком?—и что человек знает твердо? — ведь утро придет огромным огненным шаром из воды и день уйдет этим шаром в воду,—и те, кто плавал здесь сотни лет назад, nibелунги, бритты и испанцы,бросившие легендами, как волны в бурю обращают седой пеной,—они не знали этой беззвучной ловитвы неслышимого в мире, хоть те же дельфины и чайки сопровождали их по морям,—ужели они знали такое, что не знаем мы? — Но вот гудят антэны уже не в ветре, плачет приемник в радио-будке, и сонный телеграфист принимает радио о том, что где-то какая-то новая возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности...

На кубрике, у запасного рулевого ларя, на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что, если с горя ударит матрос о палубу коробком, вспыхивает весь коробок. Трубки матросов так же корявы, как их пальцы в струпьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой и огни трубок, зола на ветре летят хвостом кометы в море, освещая руки, матросы тесно сидят, сокрывшись от ветра. Нос и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец—боцман сумрачен и тих, тихий человек, мечтатель, саженный ростом.

— Ты выпил, что ли, боцман?

— Нет, я не пил...

— В Бомбее есть гора и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят человека и кладут на камень. А над горою вьются ястребы,— они у них священные. Так эти ястребы съедают мертвцев в пять минут, одни кости остаются. Тогда ихний поп сталкивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят и все засыпать пропасти не могут,—я глядел в эту пропасть—дна не видать. И хоронят там только богатых... Мы ходили туда с дункманом, полиция нас ничего, не тронула... А теплынь там какая, голому жарко, так и ходят. А акулы прямо в порт заходят, их тамошние мальчишки, мерзавцы, за шиллинг в воде режут... А солнце... А бабы—дуры, белых очень любят и прямо без денег...

— А как англичане—сволочи, байстрохи, их заставляют работать, даже, значит, баб. Работают, значит, грузят двенадцать часов подряд и полчаса на обед, на бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофем или чаем, пот валит,—а англичанин в огуречном шлеме и с резиновым жгутом,—и—чтобы бегали с тюками по сходням рысцой с бананов, и молча чтоб,—а если зазеваешь или слово—сейчас резиновым жгутом вдоль спины, значит. Мы было собирались им помочь,—так нас, значит, прямым манером в береговую контору на божий суд,—и мы, значит, испробовали резиновых жгутов, выходит не сладко... А бабы—ничего, после работы тут же вымываются в море, поедят

бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, шалаши, с мамашей познакомят... А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним туда без пропуска не попадешь... И платят англичане бабам—шиллинг в день...

Ветер сеет огоньки трубок—за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей, их отрепье. Свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груды волн трут корабельный борт, в стремлении всегдашнем ворваться за него, чтоб побежать по трюмам, чтоб разломать и смыть перегородки, каюты, склады,— чтоб корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтоб забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди и—чтоб корабль сначала медленно, кормой иль носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть,—сначала медленно, потом поспешно,— чтоб потом—там под водой, в темнеющей ко дну муты, ему, кораблю, валиться в муть ко дну по эллиптическим кругам, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом—спасательный кружок, осколки лодки и трех людей, р: скиданных волнами на километр друг от друга,—а кроме них—безбрежность океана и чашу неба, ставшую над ним...

Бодман говорит вслух своим мыслям:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие —

Потом матросы с кубрика идут спать, в трюм. Француз—третий стюард, которому судьба предложила при-

служивать у стола механиков, юноша, идет на нос, в „рум“, где на подвесных кроватях спят ирландец—второй стюард, негр—кок и помощник повара еврейский мальчик из Яффы, кроме мытья посуды, выполнивший обязанности женщины для чиф-стюарда. — — Матросский запах и запах матросских кают—он крепко, навсегда пропах солью, потом, варом и рыбой и—морем, невеселый запах, едкий, как эссенция, такой, в котором вся матросская жизнь, в соленой морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцом, чтоб не воняла, когда гниет. — — В нэз-рум было темно, француз влез в свою койку, скидаящий запах ему был привычен, больно укусила блока, константинопольская, потомок тех, которых корабль набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок—негр много уже лет ходил по морям на кораблях, развешивая по утрам овес для порича, соленую баарину для бекена, варенье из апельсинных корок, у него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького,—он лежал на нижней койке, под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока, точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе в рот, в смраде несваренного мяса.—Но кок мирно спал, спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых людей чужой волей—в пустыню вод. И третий стюард тоже скоро заснул; перед сном он немножко думал о той случайной фразе, которую кинул боцман,—

о России, как часто и много думали об этой стране матросы,—он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней, он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата; те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков,—но это ему было не важно,—он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие стали правителями своей жизни,—и о том как там, должно быть, хорошо жить и трудиться, в стране братьев,—и он старался представить себе—как там хорошо... Потом он заснул в хороших мыслях о прекрасной жизни. — А на кубрике боцман вспоминал свою псковскую губернию, свой хутор и зимнюю снежную—бесконечно-звездную—ночь, и мамины сказки, и корявого отца, сплавщика по Волхову,—он, боцман, сам уже за полдень своей жизни, семнадцать лет не был на родине, не знал ничего о своих,—живы ли?—он не думал о том, что его Эстляндская губерния стала государством,—но он знал, что это последний его рейс по морям, он гордился тем красным паспортом, что Шварц выдал ему в Лондоне,—пусть этот паспорт ничего, кроме горя, не несет во всех странах, кроме России! — он знал, что он едет домой и там — дома — он проедет в Москву, в Московский кремль, где не был никогда в жизни, и там поселится со своими братьями. И Московский кремль ему казался таким же прекрасным, как мамины сказки и как ласка корявой в мозолях руки отца. —

А над морем и кораблем шла, проходила ночь; и красное, огромное—такое огромное, какое бывает только

на морях—встает из вод солнце, красит красным свинцовые губы волн, и волны зеленеют за бортом, чтоб удобнее было плескаться в них—дельфинам.—Тогда вахтенный будет команду, толкая в бок и обращаясь поанглийски:

— Джентльмены!—

И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем не верно, что самое чистое место в мире—палуба корабля; краска давно сползла и лезет ржа; сажа и угольная пыль крепко въелись во все; канаты много потрудились, и много на них вылито дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостице стоит помощник капитана, в растерзанной форменной куртке, с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплыvший, что рожа просит кирпича, с трубкой в зубах,—такой покойный, что, даже кологя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта,—и он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что это, должно быть, слышно за несколько узлов, крича, он ругается на всех языках мира и больше всего по-русски, ибо русская ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы с корытцами в роде тех, в которых кормят свинят, идут чередой за брэк-фестом, на кухню, где пахнет перцем и очень жарко; из этих корытц матросы будут есть; матросы идут не спеша, оборванцы всего мира: босые в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштанниках, гологрудые, с засученными руками

вами, в кепках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах, — во всяческом отребье, которое им оставили порты и не истекло море... впрочем, в порту, на берегу, где они получат за весь рейс сразу, они наряжаются франтами. — —

И в кухне от стюарда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция — на кубрике никто не знает: и каждый знает поэтому, что революция на его прекрасной родине — на его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник, на кубрике толпятся в возбуждении матросы: — где-то там — революция! Бодман, уже старик, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе, — он только что собирался закурить свою трубку, — бьет коробкой спичек по стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и бодман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладоней других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в Порт-Петропавловске, поет Интернационал, и, так же путая мотив, на своих родных языках, ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы. — — Тогда отборнейшей русской матершиной до гроба, на несколько узлов в море, орет с мостика помощник.

— Стеерья! байстрюк! — кричит с нижней палубы чиф-стюард еврейскому юноше из Яффы, — кто будет мыть тарелки капитану?!

И когда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта, грек-чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее.

А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша небес прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещется вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок, — в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду — не синий, а золотой ковер, и на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом, — он хорошо разбираем в подзорную трубу. Пиратское, кабожное, горькое судно „Speranza“ избродившее на своем веку многие Панамы, Сингапуры, Бомбеи, Буэнос-Айресы, Сидни, — — режет воду. — —

Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле. — — Там, в туманной мути едь первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся муты вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланга морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, друг друга бреют, потому что на землю, „на берег“, надо сойти чистым, потому что все мечтанья моряков — о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу — на земле. — — Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек с земли, он идет на капитанский мостик, — и тридцать дней морского перехода, тридцать дней пустыни вод, и бурь, и штилей, и за-

катов, и восходов — скинуты со счетов жизни каждого матроса.

И снова ночь. Корабль в порту.

Корабль стоит в квадратном каменном ковше, за шлюзами — чтоб не мешали отливы и приливы, — под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные, ждущие прилива, стоящие на очередь к крану. Ночью не видны пыль и нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе щуплый, в желтой лихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах; впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нету никого и белыми шарами на берегу горят фонари.

Днем матросы ходили в береговую контору — перенаниматься, перекабаляться вновь на новый путь в моря; двоих скинул „с борта“ капитан и взял двоих новых, — они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле — коль не поистине, то хоть стараться — мести чисто.

Днем грузился корабль. Над ним, над палубами свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны въезжали в кран на лифт, и лифт поднимал вагоны над кораблем; там, как совок с овсом, кран вытряхивал из вагона уголь в желоба и в корабельный трюм по желобам; и, когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым

рельсам скатывался вниз; в трюмы с грохотом валился уголь, пыльца шла чернейшей тучей — в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм, — в трюмах, уже лопатами и кирками, расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли; а поезда все шли и шли; и кран откусывал вагон за вагоном, чтоб пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем; над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое жаркое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары — в дыму; над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах; над портом, в черной копоти — гремел летящий уголь, звенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на кораблях, гудели корабли, вили сирены таможенных катеров, — в порте, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий, созданное машиной против — против полевого цветочка. — Потом, в пять часов, когда солнце пошло к западу, — прогудели новые гудки, последний раз вззвили краны, вдруг иссякли вагоны и замерли на рельсах, в кренах, в клетках над кораблями, вдруг потянулся ветерок и колыхнул пелену пыли — к городу, на землю, — незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих — тоже к городу, на землю — на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам — — тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках — зеленой и мутной — выглянули нищета, тщета мирская, одинчество — —

Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня в береговой конторе, как впервые занес их бог в этот порт в Англии, в Южном Уэльсе, один из них был русский, другой испанец. Их поместили в ноз-рум, где спал кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальш-борта. Они видели, как на несколько минут приезжал капитан на двухместном автомобиле, с очень элегантной лади, — капитан переоделся в ивнингдресс и уехал, последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков, оттуда пошел в гору по дороге к Кардифу. Два матроса с кубрика, в пиджачных паках, с тросточками и в шляпах пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стюард. На спардэке запел песню вахтенный, — и песня оказалась русская, очень тоскливая и тихая; вновь пришедший крикнул от ноз-рума:

— Земляк, какой губернии?!

— Псковской, Ямбургского уезда! — А ты?

— А я, видишь, Новороссийский!. Видишь, товарищ, сказал бы кому, чтобы поесть дали, а то мы, значит, со вчерашнего дня не ели. Выходит голодно не жрамши...

Вахтенный в мэс-рум толкует со стюардом; стюард в крахмаленной рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал, куда-то в город; он спешит и кричит сердито:

— Дайте этим байстрюкам, что осталось на кухне от матросов!

На досках, тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с барабиной. Вахтенный сидит с ними, они толкуют о том, что на всех кораблях все стюарды — сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечернеет, вспыхивают огни на фонарях; от воды, как на болотах, поднимается туман и холодаеет, вода за бортом — неподвижна, зелена, — потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив, вот его история:

— Все-таки на „Рюрике“ очень били, я из-под ружья не выходил. Пришли, значит, все-таки, в Штогольм. Там мы с товарищем и убежали, говорят — ничего не поймешь, что бормочут; ночь в лесу почевали, пошли утром к порту, смотрим — стоит, а флаг уже поднят, — мы опять в лес... А жамкать охота — брюхо так и ходит; ну, решили, — где хлеб жамкаем, тут и родина наша, как пролетарии... Обошли город, спрашиваем, нет ли где еврея, все-таки, чтобы шкуру продать, и, знаешь, нашли на краю города, гомельский, обменял на пиджаки, и наши три рубля обменял на кроны; спасибо, хороший человек, спрятал нас у себя, а потом поставил на парусник с лесом, на сто пять дней в море, знать, в Австралию, в рабы, знать, без единого слова; сто и пять дней тросы вязали, с рук кожа слезла, — зато научились и по-шведски, и по-аглицки,

горьким опытом... Стал себя выдавать за шведа. И исходил я весь свет, и выходит, куда ни кинь—везде клин и кругом шешнадцать. Лучше всего жить рабочему классу в Австралии, там законы правильные и дают землю задаром,—я и там жил, женился, баба уместная, три года жил, стал сказываться, что не швед я, все-таки, а русский,—а тут, знаешь, у нас в России произошла революция,—и пошло с двух концов: англичане меня погнали, к бабе в штаны, как, знаешь, русского, всех русских гнать стали,—а с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения.. Бросил бабу, англичанку она, владении бросил, стал на корабль, ехать домой, знать,—да не тут-то было:—четвертый год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду, весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду, вроде как она провалилась под землею,—не вплавь же к ней плыть, значит.. Все-таки теперь я советский; в Ливерпуле меня изловили англичане; паспорта, конечно, не про нас писаны, — благодетель говорит: — „паспорт вы, джентльмен, обязаны взять в царском посольстве“... „Так, говорю,—а какого же это царя посольство? Это, знать, врут, что Николай номер?—Мне, говорю, все равно, какой паспорт братъ, хоть японский, я трудящийся, только тогда ты, господин высокай, одолжи мне без отдачи два фунта семь шиллингов, потому как белые поспорта дают за деньги, а Шварц-совецкий — задаром да еще на работу ставит, да к тому же и байстрюк ты, высокой, потому сам трудящий, а стоишь против рабочих, знать“... Ну, он

мене боксом по шее, а я ему по-русски в зубы... Теперь я нигде на берегу жить не могу, только на воде... на основании аглицкого закона.

Уже опеплился вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту, над доками стало тихо, взошел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы съели цветную капусту. Вахтенный-боцман сказал тихо, огромный и тихий человек:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие...

.. В городе, за горой, над пляжем стоят карусели, тир, рестораны на колесах, в сторонке в каменном доме музик-холл, на углах паблик-хаузы, где стоя пьют пиво, уиски и джин. Огни реклам—сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные—сначала сыпятся каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба, и из бомбы повисают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные английские панталоны, — потом, вслед за панталонами, возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями, у тира и—придущенная—из музик-холла гремит музыка. Под каруселями, у тира, у прилавков паблик-хаузов тискаются матросы, в шляпах, со стэками в руках, в крахмалах с чужой шеи. Над улицами, над площадью — темное небо, которое там за пляжем сливается с морскою мглою.—

Матросы со „Speranza“—четверо—францы—много пенсов оставили в паблик-хаузе за стаут, сидели в музик-холле, отыхая, куря и хохоча. Потом они пытали счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японский магазин, где любую вещь можно купить за шесть пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все, в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику-еврею, продавали ему кокайн и опий, который сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем, что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество,—как все остальное человечество, они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили уиски и стаут и платили за них собственными шиллингами, читали „Дейли Хэральд“ и купили на артельные деньги письмовник, точно у них будет досуг и смысл писать любовные письма женщинам, и деловые, с приглашением на файф-о-клок, джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны. А когда над морем и миром стала луна, похожая на китайца,—по грязной улице на окраине матросы шли в притон; на улице было пустынно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка. У одного домика, на луне, на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски:

— Плииз...

Матросы вошли в домик, в котором один из них был пять лет назад. Там было по-старому, хоть ему и было немного обидно, что его никто не помнит здесь, как он

был неимоверно пьян и сорил шиллингами: он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал всегда dataем:

— Пожалуйста, к нам потанцевать мисс Франсис...

Но Франсис здесь уже не был^о, и через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинами, которых видели в первый и, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокaine, о революциях, о России, о родине и материах... Девушки были очень покойны и, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок.— Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке, он сидел в танц-зале, пил стаут, ожидая товарищей. Товарищи вернулись, в сущности, скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улице; у порога по-прежнему сидела негритянка и она опять прошептала:

— Плииз...

Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее, его тень от луны упала на колено негритянки; негритянка улыбнулась белками, и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал:

— Идем, товарищи!.. с горя...

Город англичан уже спал, и спал порт.

... На корабле темно и безмолвно. Только в мэс-рум горит лампа, да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика, да качается огонь на мачте. На спардэке—вахтенный, и вахтенному издалека слышны четкие по камню и железу^у шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом о борт толкнулась лодка и как стюард и мальчик из Яффы, вочных туфлях, таскают мягкие туки; со спардэка видно, как на веревке туки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимет, и вновь бежит стюард в мэс-рум:—это контрабандисты, это контрабандистам продал стюард что-то, привезенное из Азии... Стюард—в крахмальной рубашке, в брюках от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо—грека—состредоточенно и бодро... Вспыхнула масленка в кухне, — кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стюард, посмотрел подозрительно, сказал:

— Что здесь шляетесь? Надо спать.

Матрос обляял стюарда по-матерному—по-русски,—и добавил:

— Генри очень болен, лежит с утра, тошнит.

Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал:

— Где стюард?

Стюард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам,—на столе чадила масленка; дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов; лица людей были плохо различимы; на столе около масленки лежала соленая рыба на утро. Генри повторил:

— Где стюард?

Стюард сказал:

— Я здесь.

На лице Генри и в голосе его появились надежда и умение, жалкие, всегда унизительные для человека. Он зашептал торопливо:

— Мне бы кусочек лимона... Очень мутит меня... Мне бы лимона... Я совсем не здоров!.. Мне кусочек...

— Нету лимона.

— Врешь, стюард, ведь покупал для моря,—сказал кок от дверей.

— Нету лимона! Генри пьяница.

— Дай лимона! Мы бы без тебя смотались в порт, да заперто...

— Нету лимона! — Стюард руку положил в карман, где револьвер.

Генри стоял у стены, и не сразу заметили, что он полз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел; тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена и руки мучаются в судороге. Тот, что при-

шел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри на стол, где лежала рыба. Генри притих и засонял. Кто-то пошуптил:

— Брось, Генри, а то еще умрешь, — придется тогда шить тебе мешок да в море рыбам...

Другой рассказал к слушаю:

— Во всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии, здоровенные ребята,—а как выйдем в море,—и качки нет никакой, а они дохнут, как мухи. Я приставлен был к покойникам, мешки шить, — в одну ночь двадцать два мешка сшил, сошьешь мешок, в него покойника, дырку тоже зашьешь — и в воду акулам на ленч...

Масленка чадила мирно. Стюард жевал чунгом. Генри приподнял голову, осмотрелся, сказал:

— Нету лимона! — Тогда, пожалуйста, термометр...

Термометр нашелся не скоро и, когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стюард, заложив чунгом за щеку, с масленкой в руке, отворачивал веки Генри и заглядывал внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую, больную глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою, черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чунгом, эту бесконечную жвачку моряков. В ноз-рум вновь пришедшие на корабль устроились спать, обживали новое место, слушали, как рыгает кок,

привыкали к константинопольским блохам. Было темно и душно. Они видели, что мальчик-поваренок долго рылся в своем углу, переодевался и потом тихо ушел из каюты; они не видели, что мальчик осторожно пробирался по палубе к рубке,—если бы осветить неожиданно лицо мальчика электрическим фонариком, то можно было бы увидеть, что оно полно боли и страдания; мальчик прошел в рубку, там, через внутреннюю дверь в кухню, он прошептал:

— Я здесь, стюард...

Стюард оторвался от своих мыслей, от чунгома, черная голова поднялась от огня, он взглянул в темный угол мечтательно и нежно. Свет в кухне погас...

Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостике стоял вахтенный. Но и он скоро уснул, стоя. В порте пересвистывались сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтобы уйти из доков с рас светенным приливом. Месяц уже скрылся, и было очень черно, как должно быть пред рассветом.

А в шесть часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменноугольная пыль, застилая солнце, разъедая все, заплескалась по палубам вода из шлангов. Настал день. Генри умер утром.

... И снова корабль, семи-тысяч-тонный, каботажный, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по фальш-бортам углем,—идет в море. Он проходит Па-де-

Калэ, Ламанш, идет в Северное море — колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплаваний, где норманны и бритты пошли впервые строить европейское благополучие в мир. И Немецкое море — к вечеру — встретило „Spreanz'у“ штормом.

На корме, застяясь от ветра, стоят матросы. Один говорит:

— Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится три погибших судна. Кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну... Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы...

Вечер. И вода, и небо, и ветер — как свинец. Вода хлещет за фальш-борты, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими присторами шла, шлялась смерть и совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории средневековые, совсем — совсем не совсем — не изжило его, оно водой, как кровь, кровью, как вода, и страшным одиночеством пиратствует на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил на — даже на морях!.. И эти могилы — не застяли ли они подлинную жизнь — многими своими жутями, одиноко-человеческими и промозглыми? — и не она ли — эта жуть — страшит дисциплиной аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря „мы идем на берег“, подчеркивают водяной их дом, — но о море не го-

ворят, потому что оно им слишком буденно — ? И сиротливо, должно быть, смотреть на Большую Медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии и которую бритты и норманны видели семьсот лет назад — ? И вода, и небо, и ветер — как свинец. И корабль — скорлупкой в них. Пустыня кругом — пустыня вод, великое кладбище... Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплющенный мяч, — и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит трехмачтовый парусник, на всех парусах, точно такой же, какие ходили здесь триста, пятьсот лет назад...

И ночью — буря. Небо звездно, в небе Большая Медведица и Полярная звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волн лезут на корабль, пенятся, гремят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо, — ветер рвет пену, и она тысячей шланг несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме перед своей идеей, в нее упервшись, дует, плюет остервенело, в одну точку, точно хочет сдуть корабль к чорту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом в воздухе и ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь на бок. — И, конечно, тут, в бурю, в страдания, у корабля возникает: душа, злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий, мечущийся, злой — каждой своей стальной частью — столковывается с морем, с морским чор-

том, чтобы выкинуть, отдать морю людей, скинуть их с себя—их и их вещи; по кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе с тросами взлетая над водой, вместе с тросами изчезая в воду... На нижней палубе под спардэком волны отвязали бочку с сельдью, бочка пляшет, вертится волчком в зеленой пене на палубе, в суматошной воде, над палубой, над мутью волн шарит зеленый свет прожектора; помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами — ловить ожившую бочку; бочка пляшет, как пьяный швед; матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волн и бочки, вода летит над головами, и бочка бегает от матросов, толкаясь у фальш-бортов, в холодном свете от прожектора... Мрак, черный мрак над кораблем, прожектор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям? — Капитан склонен над компасом: — Северное море — бурное море, много гибнет на нем кораблей — кладбище. Помощник капитана, в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее, ползает по капитанскому мостику, — гремят волны, свистят в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет все, — и к вою бури — над ней гремит материшина помощника капитана, грандиозная материшина, в бога и в гроб. — Кто вспомнит о плавающих по морям? — По палубам, по железным лестницам, на носу, на корме, в обсервационной бочке давно измокшие до нитки, без сна, продрогшие, строгие и спокойные до предела — ибо иначе смерть! — матросы. — Кто вспомнит о плавающих по морям? — Куб-

рик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то и дело становятся полом, где все завинчено, кроме людей, на подвесных кроватях — двое, курят трубки.

— И ты пойми только, знаешь, без денег... Знаешь, такие склады, продкомы то-есть...

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов — идут корабли. По морям и океанам — идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же — это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него — чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут еозинчики кораблей — матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгзулле с каучуком, в Порт-Петербург с лесом и пенькой — грунтятся корабли, чтоб ити, нести грузы — на Острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, — и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег, — он на берегу, — и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардэка, — когда корабль мечется в волнах овощинкою

в кипятке—тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся,— тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах,— потому ли только, что это их будни?— „Speranza“—это значит:— Надежда, и символ надежды:— якорь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю — за донья морей.— Матросы всегда дальновидки.

ОТРЫВКИ ИЗ «ПОВЕСТИ В ПИСЬМАХ», КОТОРУЮ СКУЧНО КОНЧИТЬ

„Из 100 англичан—99 обывателей“.

...В море на корабле, когда мы проходили Па-де-Калэ, Ла-Манш, шли мимо берегов Голландии, матросы мне много рассказывали, как гибли здесь в Великую войну корабли, как плескались здесь субмарины, как умирали здесь люди, на каждую квадратную морскую милю здесь приходилось три погибших морских корабля,—можно было бы построить прекраснейшие огромнейшие города, оторвать у пустыни Сахару на те деньги, на тот человечий труд, который—в жутком морском просторе, в страшной смерти матросов—ушел здесь под воду. Здесь крепко гуляла смерть.

А в Англии, в каждом поселке, на каждой площади, на каждом косяке церковных дверей, на памятниках и могилах, и на скорбных листах приходов—десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч скорбных имен погибших в последнюю „великую“ войну. На их могилах всегда живые цветы,— эти цветы принесли матери, отцы, невесты. Здесь горько бродила смерть, здесь крепко гуляло горе.

Смерть всегда вяжет с прошлым, с веками: века ушедшие всегда связаны со смертью, с набозной смертью, пусть прекрасной,—века впереди всегда связаны с жизнью, пусть я не проживу до них, пусть я проживу смрадно, оставшись

навозом.—В Англии на кладбищах, как в Лондоне, так и где-нибудь в Борнемусе, в Файтате, на кладбищенских на- могильных белых камнях, для всех одинаковых (точно такой же камень и на могиле Маркса), на деревенских могилах высечены даты смертей, хранящие память об отошедших.— 1423, 1517, 1398-й...—О могиле Маркса—лишь маленько словечко: на могиле растет самая настоящая наша рус- ская, с суходолов, кашка.—И еще:—в канонном Лондоне, канонных англичан, должно быть, очень коробят,—ведь англичане немузыкальная нация,—музыканты на пере- крестках, скрипачи, флейтисты, органщики,—очень коробят художники на тротуарах, на асфальте рисующие картины, со шляпой вверх дном на панели,—понятно ли им, что клоуны и акробаты на „сэруках“—страшнее могил?

В древнейшем европейском университете-городе, в древнейшем монастырском городе Англии, я пережил строгую минуту гордости за человечество, гордости, что я человек, что нами, людьми, так много сделано. Это мне трудно сейчас передать. Это было в древнем Оксфорде. Моя спутница, жена английского профессора мистера Николл, английская писательница, миссис Жозефина Калина, бывшая студентка Оксфорда, перед вечером, после дня осмотров, привела меня на башню Камры, оксфордской библиотеки и музея, на крышу высокой средневековой башни, ставшей над городом, над тишиной колледжей и буднями улиц; туда мы лезли по круглой лестнице так же, как лазили туда пятьсот лет назад; время шло к сумеркам,

наверху над городом было очень тихо, и тогда на всех сорока девяти башнях колледжей зазвонили куранты,—это было без четверти четыре, и эти без четверти четыре—мне не забыть. Мне совершенно ясно показалось, что я не в этих теперешних днях,—я в пятнадцатом веке,—над го- родом, где глаз видел только средневековые крыши, башни и стены, неслась музыка, точно такая же—фактически—какой она была в тысяча четыреста девяносто четвертом году, ровно за четыреста лет до моего рождения; эта музыка была прекрасна; я не слышал ее на улицах города, за шумихой улиц, тэкс, бэссов и трамваев,—здесь над городом была только она одна.—Да, человек много сделал, если четыреста лет назад была такая музыка. Да,—но эта музыка не случайна в Англии, как не случайно то, что английский парламент, первый в мире, вот уже много веков заседает в монастырском помещении—в Вестминстер- ском Аббатстве...

...Окефорда, Кэмбридж—университетские города. И до сих пор вокруг каждого колледжа монастырская, средне- веково-крепостная стена из серого камня; там за стеной, в дальней стороне от главных ворот—собор, и имена кол- леджей:—„Колледж св. Мадлены“, „Колледж Христовой Церкви“, „Колледж св. Мартына“, „Колледж св. Джона“,— должно быть, отсюда пошло—„храм науки“. Колледж—го- тика; посреди двор, обнесенный вокруг колоннами, под колоннами гробницы, плиты гробниц—пол, под колоннами ходы в аудитории, в трапезные (где профессора и студенты

вместе „ленчат“), в библиотеку,— и в читальной—огромный камин, такой, что в него можно сразу положить пол нашей русской избы, у камина—кресла, в креслах—студенты в студенческих мантиях, как пятьсот лет назад, как на стенах на картинах от поза-позапрошлого века, где изображен потолок в готических сводах—этой же самой читальни;— под колоннами—ходы в келии студентов; под колоннами ход, маленький, потаенный, в парк, где пруды с лодками, с черноклювыми белыми и красноклювыми черными лебедями, несущими грацию и тишину,—где поляны для отдыха, площадки для тенниса, для крикета, для голфа,—где тенистые аллеи для размышлений над книгой и наукой... На соборной башне бьют куранты, на соборных скамьях внутри пред алтарем — у каждого студента и профессора — свое место,—а в парке цветут рододендроны лиловым цветом и можно по пруду поплавать на лодке...

Миссис Николл и я, мы завтракали в ресторане, который называется „Старая комната дуба“ и в котором потолки, стены, полы, скамьи—вот уже много сотен лет—из дуба. Потом мы бродили по колледжам... Шэлли умер— утонул—где-то в Италии, он был здесь студентом,—вот тема рассказу о прекрасной провинции—в Бодлэн-либрари, в библиотеке Бодлена, под стеклом хранится гитара с оборванной струной; на этой гитаре Шэлли играл—и пел под гитару—Марии, его первой любви, здесь в Оксфорде, когда был студентом;—там дальше, за поворотом залы висел и портрет Марии, как раз против портрета Шэлли,—она

была прекрасна своей молодостью, гордыми губами, волосами, как рожь, скромным до чертей взором; так вот, она не любила Шэлли, она любила его друга и отдала ему свою жизнь,—и этот старый друг, когда состарился и когда умер Шэлли, подарил библиотеке старую гитару Шэлли. За окнами библиотеки, как в студенчестве Шэлли, должны были быть—руды, черные, красноклювые лебеди на прудах, Мэри, зеленые лужайки и тихие аллеи... В колледже св. Мадлэны, там на лугу, паслись прирученные олени и летали фазаны; мы сели на скамейку над ручьем, где любил сидеть Адиссон, покурить и отдохнуть...

...Вспомните русское сельское кладбище,—кресты на нем не живут больше десяти лет; вспомните городское, губернское, столичное наше кладбище,—могилы на нем не живут больше двадцати лет, ведь наши исторические имена свои могилы хранят—ну, от начала прошлого века. В Англии, на сельском кладбище—могилы хранят даты четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого столетий. Спросите английского фермера, клерка, рабочего, кто из его предков жил в тысяча пятьсот сорок пятом году, как его звали, как он прожил свою жизнь и умер, и где его могила?—он вам расскажет,—он это знает так же, как историю своего народа,—он знает историю йоркширских свиней, если он фермер, как и полагается грамотному сельскому хозяину, и, конечно, он лучше свиной должен знать историю своего рода...

... В Англии я не видел ни разу проселков, т.-е. таких путей, которые состоят из двух колей на грунте да пыли летом, да грязи по осени,—я много сотен миль поколесил по Англии вдоль и поперек, и поездом и автомобилем,—и я заметил, что, если в лесу начинаются разработки, то первым делом туда прокладывают асфальтовое шоссе и потом уже едут в лес,—я не видел в Англии не асфальтового шоссе. В Англии на тридцать два человека один мотор, и по шоссе мчат автомобили, мотоциклы...—каждый из нас знает цыганские обозы, и в Англии есть цыгане, так там они тащат по шоссе свои обозы на буксире огромным автомобилем, у руля которого сидит цыган же, курит трубку и напевает, а из шалашиков повозок торчат головы цыганят...—каждый из нас, должно быть, слыхал об английских клубах,—так вот, к месту, чтобы дать понятие об английских клубах,—о клубе автомобилистов:—шофферу (а почти все англичане умеют править машиной) надо уметь только пустить машину и править ей; через каждые десять миль по всей Англии разбросаны починочные мастерские и гаражи клуба; через каждые две мили на дорогах стоят телефонные будки клуба; в каждом населенном месте есть маленькие гостиницы клуба и огромные гаражи; англичанин выходит утром из дома, идет в ближайший гараж, где стоит его автомобиль, автомобиль его уже вычищен, залит, исправлен; англичанин берет его и едет, ему надо съездить за двести миль от Лондона; по дороге у него случилась порча; он оставляет автомобиль, идет к ближайшей будке,

где телефон, звонит в ближайший гараж и через десять минут у него специальный мастер чинит машину,—если же крупная порча, тогда автомобиль и его владельца везут в ближайший гараж, автомобиль там оставляется для починки, а ездокудается запасный; по праздникам, когда особенно сильное движение, от клуба разъезжают по дорогам агенты, указывают о состоянии дороги, о загруженности ее, о скорости, с какой можно здесь ехать...—Шоссе обсажено с обеих сторон вьющимися растениями, в зелени, асфальт как зеркало, кругом в зелени, в цветах уютные двух- или трех-этажные домики с полисадом, с дорожками около, обсыпанными щебнем и желтым песком, иной раз около дома старик с трубкой, с бакенами, в пиджаке, клетчатом шерстяном жилете, в желтых башмаках.. На перекрестках дорог стоят под стальными крышами, как наши дорожные кресты, крашеные в густо-красное столбы когда разглядишь их вблизи, узнаешь, что это—автоматические почтовые конторы, где можно опустить заказное письмо, простое, поговорить по телефону, а также купить спичек, шоколаду, сигаретку.

... Лондон!..

... Впервые я подъехал к Лондону—днем, в прилив—по Темзе (Темза подвержена морским приливам и отливам, в приливы это мощная река, где идут корабли из океана,—в отливы же она похожа на пересыхающую лужу). По

Темзе мы шли целый день, эти шестьдесят верст, и по обеим сторонам реки все эти шестьдесят верст был один сплошной завод, доки, корпуса, краны, трубы, дым, гудки, плачи серены, корабли, катера, парусники, опять доки, опять корпуса, опять краны, кидающие тысячи тонн грузов...

Лондон!.. Мы сошли с корабля где-то, где к самой воде пододвинулись огромные, глухие лабазы с железными воротами прямо к воде, эти лабазы пропахли морем, солью, столетиями, копотью, каждый стоял, как крепость. Нас провели их лабиринтами и вывели в узенький закоулок, где не должно быть солнца, а кольца, засовы, замки на безоконных домах говорили, что, должно быть, еще не изжиты пиратские времена,—я ведь тогда еще не знал, что десять веков английской цивилизации сдвинуты в Англии в одну плоскость, и четырнадцатый век—вот сегодня—там так же здравствует, как двадцатый... Там, в закоулке нас взял автомобиль—тэкси—и он выкинул нас на несколько минут в—по русским нашим масштабам—в двадцать второй век. Уже вечерело, и было ясно, что в Лондоне светнее ночью, чем днем, и было совершенно ясно, что я и мой спутник, первым делом должны угодить под эту венециану экипажей, что запруживали улицу. После тишины русских полей и починок, после безлюдья морей показалось, что мы попали в очень веселый праздник, в страшно нарядную толпу на подбор красивых людей, в музыку нарядную толпу на подбор красивых людей, в музыку на углах, в повозки с цветами. Над домами, на крышах,

на стенах, на площадях—мчались, плясали, кружились огни, всех цветов, всяческих скоростей: там извергался вулкан, очень угрожающе, потом он лопался и из него возникало расписание пароходов энного ллойда, лучшего в мире,—там, с крыши стекала кровь огня и из нее повисали соблазнительные слова „скотч-усики“,—там танцевал джентльмен из огня с огненной тростью. Светили сотни фонарей. По улицам катились сотни тэксы, бэссов, трамваев, карров (извозчиков не было, они вышли из употребления, их заменил автомобиль; понемногу сокращаются и трамвайные линии, заменяясь тюбами под землей и бэссами на улицах,—трамваи уже стареют); бэссы походили на неуклюжих красных слонов, на спине которых—на крышах—сидело до полусотни людей; тэксы походили на черных жучков-навозников; они шли—почти бесшумно—не по правой, как у нас, а по левой стороне; на перекрестках, по мановению руки бобби, огромного, точно иной породы, человека, они замирали, чтоб дать возможность перейти улицу пешеходам. По тротуарам сплошной массой шла толпа, мужчины в черном, в цилиндрах, женщины в белом, почти все в розовых шляпках; где-то на площади метались в воздухе живые акробаты; на углах у цветочных повозок играли музыканты на скрипках, на виолончелях, играл орган, кто-то пел... потом я узнал о могилах этих музык и пений, но в первый день это было необыкновенно.—Мы проезжали Стрэнд. На моменты захолаживала душу необыкновенная красота старины, двух соборов на Стрэнде, зданий

судебных установлений в начале Флит-стрит², королевского университета, прекрасных серых громад, сохранивших себя от средневековья—сохранивших средневековье теперешним днем...

А потом —

автомобиль свернул в переулочек, где все дома точь-в-точь, как один, серые, трехэтажные, под черепицей, с полисадом у парадного; в переулочке была тишина, точно он в глухой провинции и лег спать с семи часов; прохожие были редки, и для русского глаза здесь скуча легла и степенное спокойствие так же крепко, как у нас в Чухломе—пыль,—но пыли здесь не было, и асфальтовая улица казалась только-что вымытой.—И через четверть часа мы были—в диккенсовской комнате, в отельчике, сохранившем свой быт не только от времен Диккенса, но и еще за двести лет до него³ (в этом отельчике до сих пор сохранился еще „пудр-клозет“, где встарину, чтоб не пылить всего жилья, пудрили парики... впрочем, и до сих пор, в особо торжественных скучаях, на приеме у короля и в палате лордов в парламенте, люди появляются в париках). Нам дали две смежных комнаты, у которых была общая комната для умывания. В каждой комнате было по камину и по мягкому креслу у камина, а окна были квадратные, с частым переплетом рамы, причем в окнах было только по одной раме, эта рама поднималась и опускалась на шнурке, плотно не приставала и каждую ночь морозила нас, а мы недоумевали,—что делать: камин, что ли,

топить среди ночи?—Впрочем, кровати были такие, что на них можно было спать как угодно—и вдоль, и поперек—и даже стоя, утопая в пуховиках. Кроме кровати в каждой комнате было по туалету, по огромному зеркалу, по гардеробу, по запасному (кроме того, что в умывальной комнате) умывальнику,—и больше ничего,—так что мы, запирая поплотнее дверь, планы Лондона раскладывали, как какие то заговорщики, на полу—благо он был абсолютно чист; письменных принадлежностей в комнате не было,—чтобы пописать, надо было итти вниз, туда надо было итти и есть; в наших комнатах были веселенькие обои, располагающие ко сну... За решетчатым нашим оконцем был дворик, садик, и рядом фыкал маленькая какая-то фабричка...

...Лондон от одного края до другого, скажем, от заставы до заставы, имеет шестьдесят верст длины. В нем сейчас семь с половиной миллионов населения. По Лондону проложены свои, лондонские железные дороги, но главная его артерия—мэтрополитэны и тюбы—проложены на десяток саженей под землей, куда людей сбрасывают сотнями лифтов и где подземные поезда мчат людей с головокружительной быстротой из конца в конец города, даже под Темзой—стало-быть—под океанскими кораблями. В Лондоне есть улицы, которые невозможно перейти днем с одной стороны на другую—из-за запруженности их тэксы,

бэссами, каррами,—и около Бэнка, у Тоттенгам-коорт-роада на Оксфорд-стрит, на Пикадилли-серкус сделаны проходы под землей, где пешеходы обходят улицу; у Чаринг-росса из-под земли и под землю идут движущиеся панели,—это тоже к тому, чтобы облегчить и ускорить движение. Город работает огромной турбиной капиталов, воли, труда, сметки, смертей, в городе десятки телефонных станций и теперь вводят новую систему телефонов, таких, когда голос собеседника слышен в комнате так же, как если бы этот человек был в комнате; над каждой крышей (особенно этим увлекаются рабочие кварталы) висят проволоки радио-телефона, и радио-телефон разбрасывает по домам политические новости, биржевые новости, сообщает о новых модах в Париже и Нью-Йорке, имя лошади, пришедшей первой к старту, рассказывает сказки детям, дает концепты и танцевальные вечера... В Сити, в древнейшей части города, где когда-то была крепость и названия хранят о ней память,—в Сити закоулки, тупички, старина многовековая, камень и железо, церковки спрятались, отодвинулись куда-то подальше,—по улицам, по тупичкам лавой идет толпа черных пальто и цилиндров и на глаз видна ее непреклонная вольность (от глагола „волить“) и знание себе ценены,—тяжелые грузы краны передают по крышам... впрочем здесь мало магазинов: Сити не торгует мелочью;—Сити — это торговая часть Лондона, здесь английские миллиарды и здесь показывают дом, где под ним в кладовых лежит английское золото;—вой маленький дом, в нем

сохранилась еще круглая комната масонских заседаний, в нем сидят пятнадцать джентльменов, все как один, за счетами и счетными книгами, все очень чопорно и мирно, как в монастыре,—это контора крупнейшего синдиката и какая-то четверть Австралии принадлежит ей; вон еще меньше контора, там только пять „благочестивых“ человеков, но это их чайные грузы несут корабли по всему свету и где-то в Индии и Китае и на Ново-Зеландских островах индусы, китайцы, малайцы—их рабы на чайных плантациях; вон тот домик шлет по всему свету библию и другие божественные книги... Сити—недавний хозяин, а теперь полу-хозяин капиталистического земного шара... Так вот, в четверть шестого Сити—четверть шестого вечера—совершенно пуст, мертв, безмолвен,—миллион людей бросился из него—тюбами, мэтрополитами, бэссами, каррами... Через полчаса половина этих людей, отпив „файф-клок-ти“, будет играть в тэнис, в крикет, в гольф, в полло... По костюму в Лондоне нельзя отличить рабочего от предпринимателя, хауз-кипершу от лэди,—все одеты одинаково, все высокие, очень стройные, сухощицкие, ловкие, покойные, вежливые, внимательные, все как один, все как—как их живые кварталы...

На тех улицах, где живут англичане, нет магазинов, только разве на углу „публик-хауз“ (дословный перевод „публик-хауз“—публичный дом, но так в Англии называются кабаки),—и глазу здесь не на чем остановить я: по обеим сторонам заасфальченной улицы идут абсолютно

одинаковые трехэтажные дома с дверью наружу, при чем на каждой двери от старины до сих пор обязательно висит вместо звонка медная колотушка; перед каждым домиком полисад, подрезанный в рост человека; дома абсолютно одинаковы, и, если не знать номера, ни за что не найдешь нужного дома, хоть был до этого в нем десять раз. И в каждом доме все одинаково; каждый дом—это отдельная квартира; в каждой квартире три этажа: внизу приемная комната с камином и „дедовским“ креслом у камина, узенькая лесенка ведет во второй этаж, где столовая, и в третьем этаже—спальни с квадратными окошками... И в каждом доме—безразлично, у капиталиста, рабочего, клерка—половина „девятого“ „брэк-фест“, когда каждый англичанин обязательно ест „порич“ (овсянную кашу), „бэ-кен“, а кофе пьет с маслом и вареньем из апельсиновых корок; потом англичанин идет на свой „бизнэс“ (дело), каждый англичанин—„бизнэс-мэн“; каждый житель Лондона связан с Сити; в час дня каждый англичанин сидит где-нибудь в лайнсе или кормер-хаузе—за завтраком, за „леничем“; потом он опять работает—до пяти; в пять—„файф-клок-ти“, день бизнэса закончен; до половины седьмого англичанин проводит время за спортом; половина седьмого он переодевается в ивнинг-дэресс и приступает к торжественнейшему за день—к обеду, со всей семьей; нарядные, как в праздник, торжественные, как на рождество, они едят священнодейственно; после обеда—Гайд-парк с „сюит-хартом“, кинематограф, музык-холл, кружка

стята в публих-хаузе на углу, роман с приключениями и благополучным и благородственным (обязательно с благополучным, где торжествует благодетель и, она находит „его“!) концом,—кому что вздумается... Так вот живет многомиллионный город, хозяин полу мира, сплошь из мышц, трижды в день кушающий мясо, начинающий день—на глаз русского—с ужина со сладким из апельсинов... А в четверть двенадцатого вечера—город пуст, совсем пуст, никого нет на улицах, все умирает на ночь, англичане легли спать, и все должно спать добродетельным сном, ночной жизни в Лондоне, как вообще в Англии, нет... только разве в Вест-Инде, Уайт-Чапле, в Доках да в Имбенканде у Темзы и Вестминстера,—но этим вообще негде спать на этом свете, они поют днем на улицах, рисуют на асфальтах картины, акробатичают, музыкантят, потому что „нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет“,—это сказано про англичан, где запрещено, не должно существовать нищество, как, к слову, „не существует, не должна существовать“ проституция...

Сити пустеет с четверть-шестого, Лондон замирает на ночь с четверть двенадцатого. И еще Лондон пустеет—каждую субботу; с понедельника до часа дня субботы весь Лондон—в бизнэсе, в делах, в труде, кипит огромная турбина человеческих-нечеловеческих дел, воль, организаций, выполнений,—в субботу после ленча в час дня англичане едут на „вик-энд“, конец недели, за город, из Лондона, на природу; одни едут к морю и будут там сидеть непо-

движно на лонг-шэзе на пляже, жуя апельсины тысячи людей рядом, лонг-шэз в лонг-шэз, в молчании любуясь морем; другие едут во внутрь страны, там в гостиничке выполняют до умопомрачения все этикеты за табль-д-отом и играют в тэнис, а кругом их лес; третий снимают на полтора суток лодку и плывут на ней по Темзе, всей семьей, вверх или вниз, на таких лодках есть шалашки от дождя, с собой забирается провизия и керосинка, чтоб готовить еду, на дно лодки навалены подушки и матрасы... таких лодок уходит из Лондона тысячи, они идут тучами, со стороны похоже на карнавал, но англичане не замечают друг-друга и каждый наслаждается природой и семейной добродетелью самостоительно, точно он в пустыне; четвертые, кто победнее, едут с юга Лондона на север, в парки, в Гайд-парк, в Нью-гардэнс, в Ричмонд; в Англии, в Лондоне, огромные парки, каждый на десяток квадратных верст, там разрешается ходить и лежать на траве,— и в праздники все они сплошь, так что трудно ходить, завалены людьми, семьями иарами, лежащими на траве под зонтиками...

... Лондон, как вся Англия, как каждый англичанин, живет традициями, консерватизмом, обычаями. Четырнадцатый век прет не только из Вестминстера и Сент-Пола, но и из каждого англичанина, с каждой улицы: пусть этот четырнадцатый век клином заехал в ребро теперешних

дней, все равно, англичане сохранят этот клин, и клиньев этих очень много, которым, казалось бы, давно надо умереть, но которые здравствуют. Отсюда два очень частых в Англии ощущения: лицемерности нации англичан (и это ощущение неверное, ибо англичане очень правдивы и честны, только надо уловить их мироощущение) и—второе—какого-то омерзования, осклероживания английской цивилизации, — когда англичанин обязателен — обязательно — начнет с тобой разговор словами о погоде и будет говорить только о бизнэсе, когда можно годы дружить с англичанином, бывать у него за-просто, и все же не узнаешь, во что он верует, как верует, чем живет, о чем мечтает,—когда ни одна женщина не узнает, что она стареет, ибо все, даже мать и отец будут всегда поздравлять ее с тем, что она помолодела и похорошела. Мне это пахло каким-то Китаем... В Англии все идет от Вестминстера и приводит к нему. Не даром парламент в Англии вот уже восемь веков помещается в аббатстве. Не случайно на колонне Нэльсона на Трафальгер-сквере высечено уже столетья: „соотечественники, собирайте деньги на борьбу с королем“, и кинг Джордж мирно проезжает мимо этого изречения... Не случайно, должно быть, в Сити, рядом с которой, правящей порядками в Индии, где до сих пор англичане погоняют туземцев резиновыми жгутами, где до сих пор офицеры туземных войск не смеют подать руки великобританскому солдату и должны встать перед ним, а в Лондоне, в университете, когда русская девушка-студентка

стала работать по химии с индусом, ее вызвал профессор и спросил, как она, белолицая, осмелилась так третировать свою кровь, что стала работать с желтоожим и не коммунистка ли она?—не случайно в Сити рядом с конторой, правящей порядками в Индии, контора миссионеров, рассылающих по всему миру библии и прочие божественные книги...

... Вестминстерское аббатство для Англии—то же, что московский Кремль для России. В Вестминстере коронуются короли, там заседает парламент, там похоронены все великие англичане (а англичане умеют чтить своих великих соотечественников), там похоронен Ньютон, там похоронен Адам Смит...

... В Вестминстерском аббатстве помещается английский парламент, древнейший в мире,—судьи на заседаниях королевского суда в Англии заседают до сих пор в тогах и париках, как шестьсот лет тому назад,—в Англии все держится на обычаях, там даже почти нет писанной конституции, в этой древнейшей парламентской стране. И вот, если на суде свидетелями выступают одна женщина и два мужчины, мужчины показывают одно, а женщина другое, судья должен верить и верит женщине; когда женщина входит о трамвай, в андер-граунд, в комнату, в зал, все мужчины поднимаются, чтобы дать ей место, и женщина кланяется первая, не подавая руки;

слова: „лэдис фирст“ (женщины впереди, первые) могут остановить толпу, движение на улице, чтобы дать возможность пройти женщине; если женщине покажется, что на нее нескромно взглянул мужчина,—не надо никаких свидетелей, чтобы этот мужчина оказался в тюрьме; по всем гражданским делам женщина не ответственна, за нее отвечает или отец, или муж,—но она и не правомочна в гражданских делах,—лэдис фирст! При замужестве не женщина, а мужчина несет приданое,—и—вот. Статистика устанавливает, что англичане очень поздно женятся, это, главным образом, потому, что по английским обычаям, а стало быть и по законам, англичанин может жениться, когда у него все есть для семьи, все, начиная с квартиры, кончая установленной обычаем долгины салфеток и десертных вилок; этот обычай обязательен и для капиталиста, и для рабочего, и для клерка,—и они женятся в тридцать, сорок, пятьдесят лет, когда соберут все до последней скатерти и кочережки для камина... И этот обычай создал, как я называл бы, институт сюит-хартства — институт „сладкого сердца“: англичанин делает предложение девушке и она фактически становится его женой, и он уже не может отказаться жениться на ней в будущем, за это не только общество заклеймит его позором, но и суд заставит платить девушке большую долю его доходов, не дав ему возможности жениться на другой; у них, у двух сюит-хартов, могут рождаться дети,—это не считается позорным, потом они будут усыновлены... ино...но до тех пор, пока они не

повенчались, он может прийти к ней в дом только к файф-клок-ти или к динэр, и они будут в лоне семьи, не дальше столовой,—если он пройдет к ней в комнату, если они останутся наедине—ей в этот же день предложат покинуть этот дом; она может прийти к нему так же обедать и пить чай, и так же, если она окажется у него в комнате, его сгонят с квартиры; они вынуждены встречаться вне дома, на улице... Англия канонная, консервативная страна,—а в первые дни мне все время казалось, что она страна—очень неприличная, так как в парках можно было видеть тысячи пар, лежащих на траве под зонтиком, нежно целующихся и обнимающихся,—так как кинематографы в Англии, главным образом, к тому, чтобы там целоваться, да там сплошь все целуются, а не смотрят Чарли Чаплина,—под каждой подворотней тоже целующиеся пары; целуются друг при друге, не стесняясь, не обращая на посторонних никакого внимания, как и посторонние не замечают этого, а если выкажут, что замечают, рисуют получить хорошую затрещину боксом, и не только от обиженного, но и от любого проходящего мимо; англичане очень добродетельны и аккуратны,—и я на своей Хандлстрийт изучил с терраски всех сюит-хартов: один приходил ровно пять минут восьмого и она в этот момент спускалась с крылечка,—другой поджидал на углу семнадцать минут восьмого, с тростью и цветком в петлице,—и так изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, пока они не соберут денег на последнюю пижаму для нее. Это

характерный пример „лицемерности“ английской нации, того, как четырнадцатый век въехал в ребро теперешних дней...

В Лондоне днем часто увидишь у публик-хауз детскую коляску и в ней спящего ребенка: это значит, что мать зашла в публик-хауз выпить сода-усики, женщины там выпивают наряду с мужчинами... Разве два я видел, как матери на улице давали своим детям хорошие подзатыльники и никто не обращал на это внимания; но я видел однажды скандал на улице, когда иностранка, француженка, ударила плетью собаку, был составлен протокол, и я узнал, что в Англии детей бить—можно, но, если кто нибудь ударит животное, он будет судим. Это тоже пример английского лицемерия, особенно, если принять во внимание английскую колониальную политику...

... Вестминстерское аббатство... Мне очень памятны те дни, когда я бродил по его векам. Древнейшего, красивейшего, величественнейшего здания никогда больше я не видел. Кружево каменных глыб, более легкое, чем кружево из полотна, шло из двенадцатого века к небу, веясь; оноросло, строилось, старилось вместе с нацией англичан; оно серое, кажется,—собор построен из костей, и, когда подойдешь близко, видно, как столетья изъели камни, как вода, ветры, холода истощили известняки, как изъели какие-то черви, и тогда казалось, что эти камни сложены—не человеком, не человеческими руками, или иначе—человек теперь не может создать такого здания, потому что он не найдет у себя в помощниках—столетий. Внутри здания

полутемно, и свет идет сквозь цветные стекла наверху; там пустынно и просторно; там я стоял у могилы Ньютона: надгробная плита вделана в пол, как все плиты пола—могилы, многие уже полуистертые ногами проходящих, и плита могилы Ньютона тоже полуистерта,—страшно ступить на нее и все же я ступал, и было понятно, что Ньютон в здании английской культуры—только звенышко, как вон неподалеку могила мистера Адама Смита и его жены миссис Смит—тоже только звенышко английской и европейской культуры... В Национальной Галлерее я читал письма лорда Байрона, где он просил одолжить ему двадцать пять фунтов... В Британском Музее, где собраны экспонаты всей человеческой—со всего земного шара—культуры, все прекрасное, что создал человек за всю свою историю, в книгохранилищах музея я стоял придавленный, испуганный и гордый, что я стою там, где собраны все книги, вышедшие на земном шаре...

Я говорил уже, что старина, отошедшее, памятники мне говорят—о смерти. Мне казалось, что Вестминстер и Британский Музей—из костей, окостенели, обизвестняковились. Мне было ясно, что огромная, почти-геологическая, нечеловечески-человеческая эпоха настилает, накрывает тех людей, которые живут—живут не около, а под ней. А вот англичане живут—с нею, в ней, она—их, они—её. Так—есть. Так живет канонная Англия... Но—если эти известники английской культуры уподобить гигантскому какому-нибудь глетчеру—из-под него должны стекать ручьи.

От Вестминстера не надо далеко идти. Надо от него и Темзы подняться по улице министерств до Трафалгер-сквера (у Трафалгер-сквера—Национальная Галерея), там свернуть на Стрэнд, там зайти в „корнер-хауз“,—и ты попадешь в „пошлость“, это полу-ресторан, полу-кафэ,—здесь то, что надвигается на Европу и скоро надвинется, если она останется такой, как она есть; эта „пошлость“, как все в Англии закрывается в 11,—и это не Берлин, где в любой „пошлости“ можно достать все, но и здесь можно получить почти—все; здесь сидит „шибер“, европейский нэпман, нуво-риш, он очень подвижен, у него десяток говорящих телефонов, у него друзья на всех биржах, он сидит за столиком и от избытка энергии ковыряет в зубу и подрыгивает—совсем не по-английски—тугой ляжкой, его национальность стерта, он боится полиции и у него есть свой „свет“, с которым он считается,—поэтому он почти незаметно переписывается с барышней, подающей кофе, он убеждает ее быть его „сюит-хартом“ и поехать с ним куда-нибудь подальше на „вик-энд“, и она —убеждена; он недоволен, что газеты начинаются с передовой, а не с биржи, точно биржа не решающая все передовая, и он читает „Дэйли-Мэйл“ и уголовный роман; это ему по его вкусам играет оркестр облетевшего всю Европу одесско-константинопольского „Алешу-ша из Одессы-мамы“; он не пойдет вечером в театр, он пойдет или в киношку (так и зовет—киношка), или в музык-холл, он, конечно, ничего не знает о Шекспире... он завтра полетит „на пару

часов" в Париж, и это от нечего делать он переписывается с продавщицей, чтоб не случилось так, что ему будет скучно.

В Лондоне пустеют театры; во всем Лондоне нет ни одного оперного театра и балета,—это переселилось в музык-холлы, там поют про „Алешу-ша“, и музык-холлы ломятся от людей; кинематографы ломятся от Чарли Чаплина. В Англии отмирает классическая литература: романы Джона Галсворти, величайшего современника, которого, к сожалению, не знают у нас, но которого надо поставить в ряд со Львом Толстым,—его романы выходят в какой-нибудь тысяче экземпляров, но в сотнях тысяч экземпляров выходит всяческий бульвар, вроде „Тэрзана“ и „Пинькертона“, с обложкой, где режут голую женщину, и с концом обязательно мещански-добродетельным...

Правда, Англия очень крепка известняками своей культуры, каждый англичанин производственникомился ею, у англичан на первом месте „бизнес“, англичане до наивности консервативны, до лицемерия канонны,—и эти ручейки из-под глетчера культуры, цивилизации, очень слабы (отмирание большой литературы, театра, музыки, культуры духовной—можно объяснить и „осклероживанием“, замиранием в веках дней теперешних, замиранием веков),—шибера в Англии увидишь с трудом, он еще прячется, еще, как сто и триста лет назад, в одиннадцать часов Лондон засыпает и по улицам с фонариками ходят лишь бобби, осматривают—заперты ли двери, все ли почнет в англий-

ских канонах,—иной раз, если увидят в окне свет в неурочное время, постучат в колотушку и спросят, страшно извиняясь, не случилось ли здесь несчастья и не может ли он помочь?

...Но, матросы рассказывают,—в английских водах на каждую милю три погибших корабля, моря стали кладбищами; в каждом английском поселке, у каждой церквишки, на каждой площади—памятники погибшим на войне, на полях Шампани, в Бельгии, на морях,—их много, умерших и принесших в тихие дома горе и бедность... Англия— большой завод, завод для всего мира; Англия выиграла войну; но пока она воевала, пока ее заводы дымили, строя пушки, чтоб ими убивать, и корабли, чтоб топить их,—в Австралии построились шерстепрядильные и бумаготкацкие фабрики, в Китае, в Канаде задымили домны, в Индии возникли свои мануфактуры... Англия— большой завод, Англия выиграла войну,—но завод может существовать только, когда у него есть сбыт,—и Англия очень много, очень многое потеряла, победив: лондонский Сити был хозяином мира, и теперь „хозяин“ мира переселился из Англии,—из Европы—в Америку, в нью-йоркский Сити; Англия—страна мореплавателей, и в английских портах многие сотни караблей вот уже много лет стоят и ржавеют в бездействии; Англия очень туга, в Англии больше двух миллионов безработных,—это они поют на перекрестках, это они рисуют на асфальте тротуаров картинки, это они спят под открытым небом в Имбенкменде,—их два мил-

лиона, огромная армия не имеющих труда, здоровых людей... Англия—организованная страна, ей очень трудно, Англия—страна заводов, где заводы не дымят...

Как выйдет отсюда английский народ?

Сейчас мне хочется помянуть два учреждения, которые связаны с Россией: это книжную лавочку Н. С. Макаровой около Британского Музея и кружок англичан, собирающихся в Кингс-колледже (королевском университете) в Лондоне, полюбивших и изучающих Россию. Книжная лавочка, очень маленькая и тихая, чуть-чуть похожая на книжную лавку писателей в Москве, когда она была в Леонтьевском,—была единственным литературным местом—русским литературным местом—в Лондоне, в чужом городе, где мы, литераторы, собирались, чтобы посмотреть новые книги (русские, из России, книги в Англии редкость, и к Макаровой они доходили по одному, по два экземпляра, хотя нужда там в них большая), чтоб повидаться, поговорить, поспорить, покурить,—там было всегда очень уютно и хорошо: ведь все мы чувствовали себя в Англии—на чужбине, а тут дым сигареток и дым разговоров был „дымом отечества“.—И—субботы в Кингс-колледже: там собирались англичане, они все учились говорить по-русски, и научились,—все они—студенты славянского факультета; заезжих русских они всегда приглашали читать у них, читали и мы;—и—вот о чем речь:—после каждой лекции студенты, англичане,

люди, страшно далекие нам и по воспитанию, и по национальной культуре, по всему,—пели—англичане пели наши русские песни, „Дубинушку“, „Во поле березынька“,—очень странно было слышать из их уст слова:

„Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь“...

И эти песни в далеком, чужом городе, наши, родные песни, где все небогатство наше, где вся грусть наша,—очень бередили душу,—они пели, в сущности, плохо,—но эти плохие песни в Англии—самые значительные для меня из всех песен, когда-либо слышанных мной,—спасибо им за эти песни!—я всегда буду помнить вечера после них на набережных Темзы, около кружевного и нечеловечески прекрасного Вестминстэра...

... Когда корабль, привезший нас в Англию, подходил к Лондону, к нему подплыла таможенная моторная лодка, и таможенный инспектор крикнул снизу, очень весело, приветствие; капитан с мостика ответил ему так же весело; инспектор спросил:

— Откуда корабль?

Капитан ответил:

— Оттуда-то.

— Сколько груза?

— Столько-то.

— Сколько пассажиров?

— Столько-то.

— Сколько из них—из дружественных нам держав?

— Столько-то.

— А сколько — из недружественных? — спросил инспектор.

— Двое, — ответил капитан.

Эти двое были мы — я и мой спутник, — мы, граждане Российской Республики... Комментировать — не стоит. Но все же я должен сказать, что в Англии у меня осталось очень много друзей, которые очень многое переродили во мне.

Никола-на-Посадьях
22-е сент. 1923 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

Старый сыр	7
„Speranza“	31
Отрывки из „повести в письмах“ которую скучно кончить	63

Книгоиздательство Артели Писателей „КРУГ“

МОСКВА, Покровка, Б. Успенский пер., д. 5, кв. 36,
телеф. 2-03-81.

Склад изданий—Леонтьевский пер., д. 23, тел. 76-86.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Альманах „Круг“ № 1. Содержание: Стихи Б. Пастернака, В. Казина, Н. Асеева, С. Обрадовича, П. Оршиня, В. Ильиной, И. Эренбурга. Повести и рассказы: А. Малышкина — Падение Даира, Евг. Замятин — На куличках, М. Зощенко — Козз, В. Каверина — Пятый странник, Бор. Пильняка — Третья столица, обл. худ. Ю. Анненкова. (Распродано).

Альманах „Круг“ № 2. Содержание: Стихи Б. Пастернака, П. Незнамова, В. Ильиной, И. Океснова, В. Василенко, Е. Приходченко. Повести и рассказы: Конст. Федина-Анна Тимофеевна, С. Буданцева — Мятеж, Н. Никитина — Ночь, Н. Отнева — Щи Республики, обл. худ. Ю. Анненкова. (Распродано).

Веселый Альманах — Содержание: Ник. Никитин — Подарок Фатмы, рассказ, Ив. Лутин — История одной собаки, рассказ, М. Козырев — Покосная тяжба, эпопея, М. Зощенко — Война, рассказ, Б. Ромашев — Попово веселье, рассказ, Л. Лунц — Обезьяны идут, пьеса, А. Юрковский — Два правых американских ботинка, рассказ, обл. худ. Л. Бруни.

А. Ароев — Две повести. (Распродано).

Его же — Белая лестница, кн. рассказов, обл. худ. Н. Вышеславцева.

Н. Асеев — Избранные, кн. стихов, обл. конструктивиста Родченко.

С. Григорьев — Васса, рассказ.
Его же — Черемуха, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Евг. Замятин — Уездное, кн. рассказов, 2-е издание, обл. худ. Кустодиева.

Еф. Зозуля — Книга рассказов, том I-й, обл. худ. Бор. Ефимова.

Всев. Иванов — Седьмой берег, кн. рассказов, 2-е издание, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Его же — Голубые пески, роман, с портретом автора, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

В. Ильина — Крылатый приемыш, кн. стихов, обл. худ. Г. Ечейстова. (Распродано).

В. Каверин — Мастера и подмастерья, кн. рассказов, обл. худ. Г. Васильева.

В. Казин — Рабочий май, кн. стихов.

С. Клычков — Домашние песни, кн. стихов. (Распродано).

Н. Лесков — Заячий ремиз, повесть, обл. худ. Л. Бруни (Распродано).

Н. Ляшко — Железная тишина, кн. рассказов.

О. Мандельштам — Вторая книга, стихи. (Распродано).

Вл. Маяковский — Лирика, кн. стихов, обл. худ. Лавинского. Его же — Сатиры, обл. конструктивиста Родченко.

Его же — Солнце, поэма, обл. и рисунки худ. Ларионова.

В. Нейштадт — Чужак Лира, переводы из одиннадцати немецких поэтов, обл. худ. Г. Ечейстова.

П. Низовой — Черноземье, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Ник. Никитин — Бунт, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

А. Новиков-Прибой — Подводники, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

Бор. Пильняк — Никола-на-Посадьях, кн. рассказов, обл. худ. Ю. Анненкова.

Его же — Голый год, роман, 2-е издание.

Его же — Повести о черном хлебе.

Мих. Пришин — Черный араб, кн. рассказов.

Л. Сейфуллина — Перегной, повести. (Распродано).

С. Семенов — Голод, роман-дневник, обл. худ. Л. Малиновского.

М. Слонимский — Шестой Стрелковый, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.

З 009
44/3 26.02.09

- А. Соболь—Обломки, кн. рассказов, обл. худ. Л. Бруни.
Н. Тихонов—Брага, 2-я кн. стихов, обл. худ. Ю. Аниенкова.
Конст. Федин—Пустырь, кн. рассказов.
О. Фори—Равви, пьеса. (Распродано).
Ее же—Обыватели, кн. рассказов.
М. Шашинян—Литературный дневник.
А. Ширяевец—Мужикослов, поэма. (Распродано).
Вяч. Шишков—С томкой, очерки, обл. худ. В. Г. Бехтеева.
Его же—Тайга, повесть, обл. худ. В. Г. Бехтеева.
М. Шкапская—Явь, поэма, обл. худ. Л. Бруни.
А. Яковлев—Повольники, кн. рассказов, обл. худ. И. Рерберга. (Распродано).
А. Воронский—Искусство и жизнь, сборник статей.
А. Аросев—Две повести, 2-е изд., обл. худ. В. Г. Бехтеева.
А. Переуцков—Лесные рассказы, обл. худ. В. Г. Бехтеева.
М. Пришин—Охота и лов на севере, кн. рассказов, обл. худ. В. Г. Бехтеева.
Альманах—Писатели об искусстве и о себе, обл. худ. В. Г. Бехтеева.
Лев Эйлов—Ворона в трубе, кн. рассказов, обл. худ. Вл. Орлова.
Бор. Пильняк—Английские рассказы.

П Е Ч А Т АЮ Т С Я:

- С. Бобров—Записки стихотворца.
Б. Пастернак—Темы и вариации, кн. стихов.
Вл. Собко—По ту сторону красного рубежа, мемуары, обл. худ. В. Г. Бехтеева.
А. Н. Толстой—Рукопись, найденная под кроватью, повести.

Г О Т О В Я Т С Я К П ЕЧАТИ:

- АЛЬМАНАХ „КРУГ“, № 3.
Ник. Никитин—Полет, повесть.
Н. Онеев—Двенадцатый час, кн. рассказов.



3-19 Книги '40
ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОЙ АРМЫ
И ИЗДАНИЯ /



СКЛАД ИЗДАНИЙ

МОСКВА, Леонтьевский пер., 23, тел. 76-86